Яринка Калиновская

Василий Павлович Козаченко

SHOUT
SHARE
IT

- Козаченко Василий Павлович

Козаченко Василий Павлович
Яринка Калиновская

Василий Павлович КОЗАЧЕНКО
ЯРИНКА КАЛИНОВСКАЯ
Мертві-бо сраму не імуть...
Святослав
Перевод Н. АНДРИЕВСКОЙ
НОЧЬ

Вверху, над черным срезом стены, тревожным, красноватым огоньком мерцает однаединственная звездочка.

Внизу - мутно-непроглядная темень. Клубится, шаркает, гудит приглушенно людскими голосами, стонет и вздыхает.

Слева выступает или, скорее, угадывается сероватый прямоугольник выломанных дверей, а где-то там сразу за ним - проволока. Густая, в несколько рядов паутина колючей проволоки.

Именно здесь, среди этих проволочных заграждений, в апреле сорок второго года на глазах у Яринки Калиновской гитлеровцы насмерть замучили молодого, веселого художника Дмитра.

Дмитро и Яринка были влюблены друг в друга. Но признаться в любви так и не успели...

И вот теперь, через два года, Яринка сама попала в тот же Терногородский концлагерь. Попала после страшной катастрофы, которая неожиданно случилась с ее отцом. Правда, нельзя сказать, чтобы уж совЬем неожпданLO, но все же как-то по-глупому, за несколько недель, а может, и дней до той минуты, когда ее родные края навсегда будут очищены от фашистской погани.

Попалась и сидит теперь в темном без крыши коровнике на потертой соломе, прижавшись спиной к шершавой стене. Сидит, убитая невыразимым горем, с болью и отчаянием думает об отце, вспоминает Дмитра и ту, другую апрельскую ночь. Вспоминает, невольно удивляется, как это она могла вот так забыться, растеряться, что уже и сама себя не помнила. Ведь она же себя готовила к самым страшным неожиданностям еще вон с какого времени и знала, на что идет. К тому же верила в себя, в свои силы. Да и со страшным, со смертью в своей жизни встречалась уже не раз

Осень в том далеком году - ее пятнадцатая осень - стояла погожая, на редкость теплая, мягкая. Запомнилось: листья на деревьях желтели медленно и долго держались на ветвях - сочные

и свежие.

Училась Ярпнка в восьмом классе скальновской десятилетки и жила у дедушки Нестора...

В субботу они всем классом возвращались с экскурсии на сахарный завод.

В тенистой аллее заводского парка, обсаженной вековыми осокорями и темными невысокими елками, сын екальновского аптекаря низенький, сухопарый Дуська Фойгель подбил из рогатки какую-то неосторожную, а может, и больную ворону... Ворона была еще жива. Большой клюв широко раскрыт, лапки дергаются. А Дуська, схватив ее за крыло и размахивая над головой, начал гоняться за девушками. Напуганные школьницы с визгом разбегались кто куда. Дуська хохотал, но как-то странно, так, что видно было - ему от этого совсем не весело. Сам громко хохочет, а желтоватое остренькое личико насупленное и злое. И эти его странные, кажется, совсем белые, глаза тоже холодные и злые.

Девочки подняли визг на весь парк. Яринка приказала Дуське бросить ворону, но он не послушал, только криво усмехнулся. Тогда Яринка схватила вербовую палку и решительно пошла прямо к Дуське. "Брось ворону, не мучай! - потребовала еще раз. - А не то - ударю!.."

Дуська хорохорился недолго. Сразу поняв, что Яринка может ударить, забросил ворону в кусты и, не оглядываясь на девушек, подался к пруду.

А на подворье у дедушки Нестора, когда Яринка возвратилась домой, стояла чья-то запряженная в двуколку костистая гнедая лошадь с разрезанным ухом. На голове у нее болталась белая торба. Все из той торбы было уже съедено, и лошадь стоя дремала, изредка прядая разрезанным ухом. Лошадь почему-то и удивила и насторожила Яринку. Чья она - не знала, не помнила такой.

В хате, на табуретке у шкафчика, с шапкой и кнутиком в руке, так и не сняв брезентового плаща, сидел пожилой человек с широкой, во всю голову, лысиной и тоненькими, обвисшими усами. Человек тоже был незнакомый. Дедусь Нестор, оглянувшись на скрип дверей от стола (складывал там что-то в узелок, - наверное, внучке в дорогу), как только Яринка ступила на порог, сказал:

- Собирайся, внучка... Сейчас и поедем... Отец вот прислал за нами.

Дедушка, видно, сказал не все, но уже от того, что сказал, девочку сначала бросило в жар, а затем обдало холодом. Стало по-настоящему, как зимой, холодно.

- С мамой плохо, - закончил дедусь ровным, очевидно чтобы не очень напугать ее, голосом.

Яринка сжалась от тех слов, будто ожидая еще какого-то удара. Озноб так и не проходил, а ноги сделались вялыми и непослушными...

Ехали они те сорок километров за Подлесное почти до самого вечера. Яринка за всю дорогу не обмолвилась и словом. А лысый незнакомый дядька не нарушал молчания. Лишь иногда слегка понукал коня и причмокивал губами. Девочка сжалась в комочек, скрючилась, ничего, кроме холода в груди, не ощущая и ни о чем, кроме "что же там с мамусей?!", не думая. И желание было у нее одно-единственное: скорее бы доехать!..

Однако все, что видела Яринка вокруг себя, запечатлевалось в ее глазах как-то особенно четко и остро... Она и сейчас, словно воочию, видела черные свекловичные поля со свежими кагатами и недокопанными, зелеными, в сухом мышее и лебеде рядами свеклы; серую стерню опустевшей степи; яркую, густую зелень озими; невысокие, осевшие от времени степные кургайьГимелкие овраги с черными колючими кустами терна, на которых еще кое-где задержались клочки бледно-желтых, почти прозрачных, но сочных листьев...

Только за Балабановкой кончилась опустевшая, поосеннему оголенная степь и потянулись вдоль балок и оврагов перелески. Ржавая лисгва орешника, граба и береста, голые, колючие, усеянные сморщенными темнокрасными шариками ягод кусты шиповника, темные заросли лозы и разлогие старые вербы вдоль дороги... На Яринку повеяло лесом, родным домом, повеяло детством ..

За Гайдамацким яром еще издали приветствовал девушку ее - Яринкин древний дуб. Могучий, раскидистый, с густой, темной меди, кроной, гордо возвышался оа среди степной равнины, так, словно только что вышел м леса, чтобы встретить свою маленькую хозяйку, остановился на краю межи да и потянулся к ней ласковыми ветвями.

Чем-то родным, щемяще-горьким отозвался в Яринкином сердце этот дуб. Потому что, когда бы она ни возвращалась домой из Скального, Новых Байраков или Терногородки, каждый раз он выходил из леса, неторопливо шел ей навстречу. Мягко, печально, по-отцовски шелестел густой листвой, будто предупредить о чем-то хотел...

А уже за ним, тем красавцем дубом, в нескольких сотнях шагов, по-настоящему начинался и лес.

Их отцовский, родной Яринкин лес, в котором каждая тропинка и каждый ручеек - свои, знакомые на каждом шагу.

Клены и груши-дички в Грушевской роще уже совсем осыпались. На земле между стволами, казалось, кто-то насыпал вороха красновато-желтых медяков - листьев. Медно-рыжая, густая листва дубов даже издали казалась сухой, а на осокорях - чуть прибитой светлой желтизной и свежей. Куст калины на самом дне Глубокой балки над криницей ярко полыхал багряным пламенем листьев и ярко-красных гроздьев ягод...

Солнце, густо налитое калиновым пламенем, скрылось за далекой зубчатой полосой леса. И в том месте, ближе к горизонту, вишневая, а выше малиновая, разливаясь на полнеба, долго еще рдела пышная и холодная вечерняя заря. На ее фоне высокие осокори возле хаты, сама хата, хлев, наклонившиеся, словно вылитые из соломенного золота стены сарая, колодезный журавль и густая стена черноклена за хатой казались черными и плоскими.

В густых ветвях осокорей, над самыми верхушками носились, кружили, беспокойно и хрипло кричали грачи.

И Яринке сразу вспомнилась вот та уже будто совсем забытая ворона, которую подбил в заводском парке Дуська.

Девочка вздрогнула и, как только двуколка въехала в раскрытые настежь ворота, не ожидая, пока остановят лошадь, ничего не сказав вознице, забыв о дедушке, соскочила на ходу и бегом через подворье, в неприкрытые двери сеней, бросилась в хату...

В хате уже густели сумерки, хотя видно/было еще хорошо. И были там какие-то люди. Казались, даже много людей. Сколько их было на самом деле и кто они, Яринка так тогда и не поняла. Она и отца не узнала, не видела, и сейчас так и не припомнит: был он в хате, когда она ступила на высокий порог, или его не было? Увидела только большой белый гроб, установленный на широкой скамье возле торцового окна, словно заполнивший собою всю хату. За стеклами окна, алея, догорала темно-вишневая заря, а в ноздри остро бил густой, смолистый запах сосновой доски и сухих васильков...

Из белого гроба, из-под белого льняного покрывала, в обрамлении беленького платка страшно темнело чье-то лицо с заостренным подбородком, совсем черной, тоненькой черточкой запекшихся губ и желтели неподвижные, застывшие пальцы сложенных одна на другую узловатых рук...

Теперь, когда она припоминает тот миг, ей кажется, что ощущение было тогда чем-то похожим на то, как если бы ей кто-то неожиданно выстрелил в грудь или в лицо или что-то там в груди или в голове само оглушительно взорвалось...

Яринка с ужасом вскрикнула, пораженная отчаянием

внезапной утраты, не видя ничего перед собой, кроме того белого гроба, что вдруг заколыхался и поплыл перед ее глазами, бросилась вслепую и упала лицом прямо на те затвердевшие, навечно скрестившиеся руки...

Потом она так и сидела, застыв у гроба на скамье, в ногах у матери. Не плакала: слез не было. Только чувствовала себя так, будто это и не она. Вся окаменелая, застывшая, сжавшись в ледяной комочек, ничего, кроме холодного отчаяния в груди, не чувствуя.

В хате было уже темно, хотя все видно было четко, рельефно. За окном над верхушками черноклена в чистом небе низко плыл полный, большой, будто стеклянный, шар луны. Вытянутая, перекрещенная черной рамой тень окна лежала на глиняном полу. А из леса, из-за сплошной стены черноклена, змеилась на подворье, заливая колодец и корыто-долблянку возле него, широкая полоса осеннего тумана.

Темнело, как чужое, немое, неузнаваемое лицо матери, каким ранее Яринка никогда его не видела. И наплывали такие минуты, когда ей вдруг начинало казаться, что все это только страшный сон... Однако она знала твердо и ясно: нет, это не сон. И ничего-ничего поправить уже нельзя. И оттого такое нестерпимо острое, беспредельное отчаяние словно оглушило ее. "Мамуся!.. Как же это!.. Не может этого быть! Не хочу!" - протестовало, не хотело покориться и поверить случившемуся все ее существо. И в то же время она испытывала такое острое отчаяние, пронизывающее каждую клеточку ее тела, ощущение того, что с этим уже все и навсегда кончилось в ее жизни... Все, все!.. Больше ничего не будет и не может быть... Ничего больше не будет. И ничего ей больше уже не надо. Что она без мамуси? Зачем?! Нет, ничегошеньки ей больше не надо, ничего не хочется и ничего никогда в жизни не захочется. И жить не хочется! Зачем и как ей дальше жить?! Для кого? И почему это нельзя умереть вместе с мамусей сразу, вот здесь? Чтобы ничего этого больше не видеть... Как же она жаждала тогда лишь одного умереть!.. Чтоб мамуся не бросала ее одну на свете, а взяла с собой. Только этого, только одного этого хотела тогда она. Ей даже казалось, что она уже умерла.

Видела и себя в белом гробу, что так пахнет сосновой стружкой и сухими васильками. Видела свое застывшее, потемневшее лицо, и от этого ей было совсем, ну совсем не страшно... Страшно, до безумия страшно было остаться вот так внезапно без мамы и уже больше никогданикогда не увидеть ее, не услышать ее голоса... "Нет, не смогу, не буду я так! Не выдержу... Ничего мне теперь не мило! Мне надо, просто я

должна умереть, так мне будет лучше..."

Отец у Яринки был человеком молчаливым. Высокий, круглолицый, с серыми кроткими глазами, пшеничными, подстриженными ежиком усами и всегда - летом и зимой - с загорелым до медного цвета, обветренным лицом. Слушает, когда ему что-нибудь рассказывают, молча, а надо - ответит одним словом. Да еще усмехнется - то широко и как-то по-детски, то немного смущенно... Всегда какой-то сосредоточенный, все как будто думает о чем-то своем. И снова неожиданно возьмет и улыбнется, просто так, никому, наверное, каким-то своим мыслям.

Отец с детских лет рос в лесу. И это, возможно, лес наложил свой отпечаток на его молчаливый, мягкий характер.

Привык жить в уединении, вслушиваться в лесной шум, думать под тот шум о чем-то своем да и обо всем на свете. А иногда и разговаривать в лесном одиночестве мысленно с самим собой.

Мама, когда Яринка была еще совсем маленькой, говорила иногда, усмехаясь, с мягким укором; - Ты, Корней, в этом лесу совсем говорить разучишься.

Отец на это лишь смущенно улыбался. И мама - отец взял ее сюда в лес из Скального - наконец к этому привыкла.

- Тут уж и вправду не до разговоров! -сказала она как-то. - И без того полна голова шумом и птичьим щебетом. Хоть уши затыкай.

Но все же, не выдерживая долгого молчания, не преодолев своего характера, начинала петь. Песен мама знала много и разных. Петь любила и умела. Копаясь у ха ты, на огороде или возле скота или занимаясь шитьем летом под липой, мама, бывало, свои песни выводит одну за другой, только эхо разносится по лесу. А отец выйдет незаметно из-за деревьев, станет где-нибудь за осокорем или у сарая, чтобы мама не заметила его, и слушает.., Мама поет, а отец стоит, слушает и приятно так, с умилением усмехается себе в усы...

И еще: были у отца большие, жилистые руки с разбитыми тяжелыми ладонями. Да и силу имел немалую и в работе себя не жалел. Бывало, поднимет на разведенный воз дубовую или грабовую колоду - другим кому и втроем ее не поднять. А он поплюет на ладони, поднатужится, поднимет рывком и только чуть слышно крякнет потом. А однолетки его, приезжавшие из деревни на десятках колхозных подвод, особенно осенью и зимой, стоят, бывало, переглядываются и только головой покачивают...

Смерть жены, видимо, надломила и пригнула к земле этого крепкого, спокойного человека. Он осунулся, зарос рыжей

щетиной, от носа до уголков губ пролегли две глубокие морщины. Широкие плечи обвисли, а глаза стали мрачными и тусклыми. Не осталось и следа и от той характерной его усмешки. Словно ее никогда и не было.

Таким предстал отец перед Яринкиными глазами уже на третий день после похорон мамы. До того она словно и не видела его... А тут... Отец сидел на низенькой табуретке возле лежанки и лущил фасоль, выбирая стручки из кучи на расстеленном рядне. Вынужден был, несмотря на горе, что-то делать. Его большие руки не могли оставаться без работы. Да и женского труда, как другие мужчины, никогда не чурался. Лущил фасоль, а сухие, пустые стручки бросал в печку, возле которой, ловко орудуя ухватами, горшками и кочергой, хлопотала чернявая, остроносая молодица из Подлесного - Явдоха. Бездетная вдова - быстрая, сухощавая, разговорчивая - считалась какой-то .дальней родственницей по матери. После похорон она осталась на несколько дней в их хате, чтобы поддержать людей в горе и хоть чем-нибудь помочь по хозяйству.

Отец лущил фасоль молча, механически, углубившись, вероятно, в свои тяжелые думы, словно и не замечая, что и как делает. А Явдоха точно так же привычномеханически тараторила, не умолкая ни на миг, о какихто сельских знакомых, о каком-то бригадире, что заехал возом вместо плотины в пруд; о какой-то молодице, бросившей мужа с детьми и подавшейся куда-то с милиционером... Тараторила, не очень беспокоясь о том, что никто, собственно, ее тут и не слушает, хотя обращалась она то к отцу, то к Яринке.

Отец на то даже бровью не повел, а Яринка... Правду говоря, слова Явдохи стрекотали где-то в стороне, как, скажем, ветрячок на крыше под ветром, и, не доходя до сознания, немного мешали ей, отвлекая от чего-то самого главного, что она хотела, силилась, но так и не могла додумать. , Сидела она, втянув голову в плечи, забившись в уголок между кроватью \и маминым сундуком. Все еще не верила в то, что случилось, и в то же время твердо знала, что ничего и никогда уже не вернешь и ничего-ничего хорошего для нее на этом свете уже не осталось...

И вот в какое-то мгновение, когда голос Явдохи, наверное, зазвучал громче, ударив ее по напряженным нервам, Яринка встряхнула головой и остановила взгляд на отце. Словно впервые увидела резкие, печальные морщины, осунувшееся, небритое лицо, ссутулившуюся, поникшую фигуру... И вот именно тогда, когда острое чувство жалости к отцу горячим током пронизало ее насквозь, он что-то - одним лишь словом - ответил Явдохе, и на его осунувшееся лицо на миг, на молниеносный миг набежала...

Нет, не улыбка, скорее бледная и болезненная тень прежней улыбки!.. Но и этого было довольно... Теперь уже не только трескотня, но и само энергичное, остроносое лицо Явдохи стало ей мешать, раздражать, даже оскорблять своей неуместной оживленностью. И Яринка неожиданно для самой сеоя резко, даже гневно подумала: "Если он... если он осмелится когда-нибудь жениться второй раз, тогда нет у меня отца. Возненавижу на всю жизнь!.."

Подумала и сразу будто оказалась где-то далеко-далеко и от отца, и от той Явдохи, и от своей хаты, да и вообще от всего, что было до позавчерашнего вечера дорогим, родным или особенно важным. Потому что...

"Но... что это я?.. И все это для меня совсем-совсем безразлично... Пусть каждый делает как хочет! А я - не могу... Не хочу я больше жить на этом свете..."

- Сколько же времени прошло с тех пор? Почти пять лет!.. Как будто не так и много. Но вот уже осталась она одна-одинешенька на всем свете. Сидит ночью за колючей проволокой пересыльного концлагеря в ободранном коровнике на перетертой соломе среди незнакомых измученных людей и думает, вспоминает. Спешить ей теперь - впервые, пожалуй, за два последних года некуда, точнее, нет возможности. Бежать, по крайней мере до утра, не осмотревшись вокруг, не узнав, что и как, она тоже не собирается, уснуть не уснешь на этом холоде, хотя бы и захотела... Только и осталось вспоминать и думать обо всем на свете - вволю, до малейших подробностей... Этого уже никто не запретит ей, ибо никто не имеет на это ни власти, ни силы...

Отец вторично не женился. А Яринка не умерла, хотя долго еще чувствовала отвращение к жизни, какое-то тупое безразличие ко всему.

Сначала ей не хотелось возвращаться назад в Скальное. Не хотелось оставлять отца и снова ходить в школу.

Все, почти буквально все, чем жила до этого, было ей безразлично. Стали безразличны школа, товарищи, учителя и даже книги. В классе она сидела, уставившись в одну точку, и видно было, что то, о чем говорилось на уроке, до ее сознания не доходило. Во время переменок чаще всего так и сидела за партой. Дома, как обычно, хлопотала по хозяйству. По привычке готовила для себя и дедушки Нестора еду, топила лежанку, а потом садилась за уроки. Раскрывала книжки, тетради да и сидела так целый зимний вечер, свернувшись в клубочек, и о чем-то думала... Иногда об отце, которого она все больше жалела, ибо он остался где-то там в своем лесу совершенно один, наедине со своими мыслями и лесным шумом, Все время вспоминала маму. А

иногда думала так просто, ни о чем или о чем-то таком, о чем бы позже спроси ее, так и вспомнить бы не могла.

Совсем еще недавно она была одной из самых активных пионерок и лучших учениц. Теперь же, собственно, перестала учиться. И то состояние, в котором она находилась, словно отгородившись от всех и всего на свете, не могло не встревожить учителей, пионервожатую, дедушку Нестора, отца...

Пионервожатая пыталась поручать ей какие-то выступления, даже доклады, посылала с делегацией в соседнюю, что с ними соревновалась, школу.

Учительница Наталья Емельяновна поручала систематизировать собранный за лето гербарий, а словесница Глафира Федоровна все подсовывала будто бы очень интересные и нужные книжки, развлекала беседами. Подозрительно разговорчивым стал вообще несловоохотливый дедушка Нестор. Чаще, чем раньше, наведывался в Скальное молчаливый и кроткий отец. Привозил лесных, так нравившихся ей прежде гостинцев: гнилушек, давленого терна, яблок и орехов.

Но ничто, казалось, не могло развлечь, утешить или заинтересовать Яринку. Заботы близких она понимала, знала, чего они от нее добиваются, и все это девочку еще больше удручало. А отец вместе со своими лесными гостинцами одним лишь появлением еще больше бередил и так невыносимую печаль и боль...

Ничто, казалось, не могло возвратить ей утраченного равновесия, былую живость, радость жизни. Надеяться можно было только на время, которое, говорят, лечит лучше всего. Ведь все попытки близких и родных как бы разбивались о ее недетское молчаливое безразличие и замкнутость, как волны о каменную скалу... Хотя...

может, это и в самом деле так лишь казалось!..

Как-то, уже в конце декабря, пионервожатая Зоя дала ей задание: подготовиться и потом, в январе, провести беседу с учениками и пионерами четвертых классов об Ильиче.

Ей, как и перед тем, ни за что не хотелось приниматься, ни к какой не тянуло работе, но отказываться от задания было неудобно, и она просто не осмелилась...

А раз не отказалась, дала согласие, уже не могла того не сделать, так как за свой, пусть и короткий, век привыкла: взялась - сделай!

Вечером, после того как дедушка Нестор забрался на печь, повозился, покряхтел и утих, тоненько, по-детски высвистывая носом, она сидела на лежанке, закутавшись в большой шерстяной платок, поставив позади себя в запечек керосиновую лампу, -

читала. Читала и то, что читала раньше, и то, что слышала, может быть, десятки раз...

За окнами стояла глухая декабрьская ночь. Висела над темной крышей хлева ущербная прозрачно-кристальная луна, заливая белые, тихие снега, покрывшие хаты, улицы, левады и огороды, призрачным зеленоватым светом. Подернутые тоненькой пленкой изморози стекла причудливо искрились. А она читала... Читала допоздна, не отрываясь от книжки, и чем далее, тем с большим интересом, впервые за многие месяцы...

Его отец умер так же внезапно. В январе. Отцу было тогда всего пятьдесят четыре года, а ему неполных шестнадцать. Старшие - брат и сестра - уже учились в Петербурге. А он еще был только гимназистом. Учился и помогал матери присматривать за маленькими, воспитывать их. Большое и неожиданное горе не сломило его; он должен был прежде всего заботиться о матери и младших братьях и сестрах. Должен был подрабатывать, помогать младшим готовить уроки и учиться. Обязательно и как можно лучше учиться... Было нелегко, ведь он должен был думать и отвечать не за себя одного...

А всего лишь через год, когда еще не утихла боль после смерти отца, его внезапно вызвали из класса посреди урока. Знакомая учительница Кашкадамова, глядя на него испуганными глазами, передала только что полученное из Петербурга письмо от столичной родственницы... Он прочитал молча, не проявив внешне ни своих чувств, ни острой тревоги. Прочел, помолчал, потом сказал: "Но это же очень серьезно!" И прежде всего вспомнил о несчастной матери. И самое тяжелое - подготовить мать к новому большому горю и ужасной опасности - взял на себя...

Через два месяца его брата Александра повесили в Шлиссельбургской крепости за подготовку покушения на жизнь царя Александра III.

Ему было тогда всего семнадцать, и он еще учился...

Брата он глубоко уважал и любил настоящей, крепкой любовью. Боль невыразимой, безвременной утраты, да еще в таких жутких обстоятельствах, могла ошеломить, даже убить и более взрослого и закаленного человека.

А он - выдержал... Смерть брата причинила мучительную боль. Но она его и не сломила, и не убила, и не запугала... Юношу поразили, придали сил мужество, самопожертвование, героизм брата и его смелая речь на суде, которую услышала и потом пересказывала мама.

Он гордился своим братом, его смелостью, хотя и не разделял его методов борьбы - не принимал террора.

Семнадцатилетний гимназист, подавив боль, собрав всю силу воли, твердо проговорил сквозь стиснутые зубы:

"Нет, мы пойдем не таким путем... Не таким путем надо идти..."

Это - в семнадцать лет!..

Против него были царь, самодержец огромной империи, могущественная держава, армия. Он казался таким одиноким и беззащитным. Но только казался!.. Он верил в силы народов, знал свои силы и знал, к чему стремится.

И его ничто не запугало. В самую страшную минуту жизни проявил и мужество, и стойкость, и отвагу. Он и в дальнейшем помогал содержать семью и учился. Учился основательно, упорно - в школе и самостоятельно. Не как гимназист, а как настоящий молодой ученый. Учился сознательно, готовя себя к будущим боям.

Он блестяще выдержал экзамены. Директор гимназии в своей характеристике засвидетельствовал, что он "во всех классах был лучшим учеником". И ему, брату "государственного преступника", хотя и не хотели и боялись, все же вынуждены |0были присудить золотую медаль.., ...Разумеется, Яринка и раньше обо всем этом знала и читала не раз!..

Но ведь читалось все это при совершенно иных обстоятельствах... И воспринималось по-иному, по-книжному. Как очень и очень далекое от нее и по времени, и по масштабу. И такое значительное, высокое, что ей бы никогда и в голову не пришло как-то сравнивать себя с ним.

А вот теперь, в большом горе, неожиданно почувствовала с удивлением, что от всего того протянулась прямо к ней какая-то живая, трепетная ниточка. Повеяло близким, не только понятным, но и прочувствованным всеми нервами воспринятой жизни.

Ведь был тот шестнадцати-семнадцатилетний гимназист таким же, в конце концов, как и она, учеником, обычным человеком, со всеми присущими человеку радостями, сомнениями, надеждами и болью. Не памятником, не портретом, не монументом. И даже не книгой, а человеком...

И потому казалось, будто все это она прочитала сегодня впервые. Будто возникло сейчас в ее мыслях и чувствах, сошло на нее какое-то глубокое и неожиданное откровение.

И долго еще в ту ночь сидела Яринка задумавшись, долго не могла уснуть, чувствуя приближение нового, важного и какого-то значительного поворота в своей жизни...

Через несколько дней после того она пошла к пионерам. Четвероклассники слушали ее рассказ затаив дыхание, с интересом ловили каждое слово. Она и сама почувствовала

удовлетворение от встречи и беседы с ними.

Даже молодая учительница из четвертого "А" Елена Ефимовна - она, оказывается, сидела, проверяя тетради, в соседней комнате, двери в которую остались не прикрытыми, - сказала ей, а потом и пионервожатой, что Яринка очаровала ее школьников...

Перед самым Новым годом к ней приехал отец, привез еду и лесные гостинцы. И был он таким осунувшгмся, постарелым, с непривычной сединой в бороде и на висках, что смотреть на него было нестерпимо больно.

И снова, показалось, впервые, с того дня, когда умерла мама, увидела его таким Ярпнка, и такая жалость, такая острая любовь пронизали ее вдруг к этому родному, заброшенному, лишенному любви и ласки близких человеку, что у нее даже слезы на глаза навернулись.

Бросился в глаза разорванный карман отцовского пиджака, протертый локоть и грязный воротник давно не стиранной сатиновой рубашки... И Яринке стало стыдно.

Стыдно потому, что она, молодая и сильная, замкнулась в себе, словно это только ей одной тяжело. Стыдно оттого, что она совсем забыла об отце и о дедушке, что ее отец такой одинокий и такой заброшенный.

"Как же ему, наверное, тоскливо одному в лесу! - подумала девочка. - И как я его люблю!.. И теперь уже никогда, ни за что не брохху его!.."

Она сразу же взялась за дело: поставила на плиту греть воду, зашила карман, починила рукав пиджака.

Затем попросила отца снять рубашку и выстирала ее...

А отец, увидев свою единственную дочь снова живой, внимательной, энергичной, обрадовался этому и явно повеселел. По крайней мере, впервые за долгое время улыбнулся своей доброй и чуть смущенной улыбкой.

Позднее, проводив отца, она дала себе слово, что до зимних каникул в дедушкиной хате перевернет все вверх дном. Все уберет, приведет в порядок, постирает, починит, выгладит, а затем, во время каникул, точно так же наведет порядок и дома, у отца. Все каникулы даже из хаты никуда не выйдет. Все время будет с отцом. И ни на шаг от него не отойдет...

В первое же воскресенье после Нового года она пошла в город, в культмаг, и купила себе значок. Маленький-маленький, самый маленький, какой только там был.

На тоненькой, как иголка, булавке - металлический значок с силуэтом детской головки... Приколола значок так, чтобы он никому в глаза не бросался - не для людей, только для себя, - на отворот борта трикотажной кофточки и про себя подумала,

словно обещая кому-то постороннему: "Буду носить его всегда, где бы ни была, сколько буду жить..."

Она не боялась крайностей, характер у нее был решительный и в ее годы росла максималисткой, удивительно последовательной. После смерти матери хотела только умереть; едва избавившись от навязчивой мысли о смерти, решила всю свою жизнь посвятить отцу, жить только для него...

Тот маленький значок с силуэтом детской головки и сейчас при ней; он за отворотом цигейковой шубки, надежно скрыт длинным ворсом. Она и в самом деле не снимала его с груди ни разу за все долгие четыре года...

А отца нет. Да, надо смотреть правде в глаза, какою бы горькой она ни была. - . Нет его .. Хотя, потеряв сознание, истекая кровью в камере новобайракской полиции, он, может, еще и дышит...

Но она не смогла ничем, ну ничем не смогла помочь ему...

От этой мысли, от собственного бессилия, отчаяния можно сойти с ума... Если бы не отец, который остался там, в Новых Байраках, ни о себе, ни о том, что с ней самой случилось и что еще случится впереди, Яринка и не думала бы. Своя судьба сейчас ее совершенно не тревожила и нисколько не интересовала. Ей теперь было все равно, что бы с ней ни случилось... Если бы она могла спасти отца!.. Но она не смогла спасти его и не сможет.

Даже подумать о таком страшно. С ума сойти можно...

И лучше уж не думать.

В ту зиму, после смерти матери, когда Яринка словно не по своей воле возвратилась к жизни, она все еще страдала от своего "маюдушия", обвиняя себя в том, что, оставаясь жить, изменяет памяти матери, изменяет своей любви к ней, своей печали. Оправдываясь перед собой, она думала: "Буду жить не для себя. Буду жить лишь для них - для дедушки Нестора, для отца... Ведь они без меня остались такими одинокими и беспомощными!.."

И правда, чем дальше, тем больше она прирастала душой к родным и близким ей людям, жила для них.

Присматривала, ухаживала за ними, следила за тем, чтобы все у них было как и при маме. От этого чувствовала и себя счастливой. Будто исполняла мамину волю, ее завещание. Иногда даже удгтлялась: как это она раньше могла так безразлично относиться к отцу. И как это она не знала, не чувствовала, что любит своего отца больше всех на свете. Любит и жалеет. А жалея, любит еще больше. Не щадит ни себя, ни своих сил, ни времени, успевает и учиться, и обшивать, и обстирывать их обоих и в двух хатах поддерживать хоть какой-то порядок.

В этом теперь, казалось, была вся ее жизнь. Хотя глубоко, на

самом дне души, в сознании жило, таилось до поры и что-то другое, связанное с тем силуэтом детской головки, который она носила, прикалывая то к отвороту шубки, то к кофточке или платью, ни на один день не разлучаясь с ним.

Яринка была такая маленькая, или, как говорили о ней родные, такая дробненькая, что когда ей исполнилось пятнадцать лет и она вступала в комсомол, в райкоме подумали, что ей нет еще и четырнадцати.

- Как же ты учишься? - спросил ее чубатый и тонкошеий Федор Кравчук, секретарь райкома.

- Учусь... - невнятно и даже смущенно ответила Яринка. Ей почему-то было неудобно ответить, что в девятом классе она стала круглой отличницей, много читала, интересовалась литературой, географией, историей и с особым прилежанием изучала немецкий язык.

Ответ ее показался секретарю не только невыразительным, но и довольно странным. Он пожал плечами и улыбнулся.

И тогда за Яринку ответила пионервожатая Зоя:

- Она у нас отличница!..

- Отличница? - переспросил секретарь, вытягивая и без того длинную шею, словно не поверив.

В те годы все, кто кончал или должен был окончить десятилетку, были уверены, что обязательно поедут учиться в вуз. И почти каждый ученик за год или два до окончания школы облюбовывал себе будущую профессию, лелеял мечту стать Чкаловым, Мичуриным или просто овладеть профессией летчика, агронома, врача или учителя. Зная об этом, секретарь спросил:

- А куда пойдешь учиться потом? Кем хочешь стать?

- Я? - удивилась Яринка. - Я еще не знаю. Не могу сказать...

Ответ снова прозвучал, да еще из уст отличницы, довольно странно.

- Не знаешь? - протянул секретарь.

- Нет, - вполне спокойно повторила Яринка. - Знаю только, какой хочу быть.

- А какой же...

- Ну... Это уж я сама знаю... - И умолкла.

Секретарь снова пожал плечами.

Тогда, во время испанских событий, фашизации Германии, Италии и Японии, юноши и девушки часто думали и говорили о будущей войне, так или иначе готовили себя к ней, учились, сдавали нормы ПВХО, ГТО, ГСО, изучая винтовку или старый пулемет с дырочкой на стволе.

Такое "оружие" было чуть ли не в каждой школе и сельском клубе.

Потому и вопрос члена бюро райкома, Ларисы Замновой, с которым она пришла на помощь секретарю, был не случайным, а вполне уместным.

- Ну, а если война? - спросила Лариса, прижмуривая голубые близорукие глаза и поправляя портупею на зеленой юнгштурмовке.

- Что война? - не поняла Яринка.

- Ну, - поднялась с места Лариса. - "Если завтра война", как в песне... Что ты тогда будешь делатьзнаешь?..

Теперь уже Яринка поняла. Такой вопрос не был для нее неожиданным. Она тоже сдавала нормы ГТО, училась делать перевязки, стреляла из школьного "монтекристо" по мишени с зеленым силуэтом фашиста, умело разбирала и собирала затвор винтовки. А груды перечитанных книжек, множество просмотренных фильмов, собственное представление и фантазия в сочетании с неплохим, для ее школы, знанием немецкого языка делали свое дело. Перед глазами ее всегда были Анка-пулеметчица, Павка Корчагин, Артур из "Овода". И Яринка представляла себя то санитаркой, то переводчицей в каком-то штабе, то разведчицей, а то и агитатором или политбойцом в каком-нибудь уже освобожденном от фашистской власти немецком или испанском городе, где она учит юношей-иностранцев, как надо жить и работать посоветски, по-комсомольски...

Однако ответила Ларисе кратко, глядя себе под ноги:

- Ну конечно же знаю, что буду делать...

- А что? - допытывалась Лариса.

- Ну, если говорю, то, выходит, знаю... Что ж тут говорить!

И хотя ответы ее произвели несколько странное впечатление, даже показались не очень определенными прямолинейно настроенным членам бюро (которые добивались во всем ясности и которым все и всегда было ясно), Яринку приняли в комсомол единогласно.

Где-то в Новых Байраках умирал страшной смертью, а может быть, уже и умер ее отец. Она же не могла предотвратить этого, хотя и думала все эти годы, что живет и жила только для него. Все для него, даже сама ее жизнь. Она и сейчас, не колеблясь, отдала бы свою жизнь, если бы... если бы это только могло спасти отца.

Но это невозможно. Замученная и истерзанная пытками, она только напрасно погибла бы, да и то не вместе с ним.

Но и этого сделать ей не позволили. Да и права такого она, наверное, не имела.

Тогда, учась в девятом и десятом классе в Скальном, она

просто разрывалась между отцом, дедушкой и школой. Хотела хорошо учиться. Охотно выполняла пусть и не сложные, но хлопотные, требовавшие времени и внимания, комсомольские нагрузки.

Отец, как и раньше, жил в своем лесу одиноко. Внешне казалось, что с этим он давно свыкся и такая жизнь его будто и не тяготит. Но его внешнему спокойствию Яринка не верила. У нее сердце разрывалось, когда она вспоминала об отце, о том, что он где-то там один-одинешенек живет в пустой хате, бродит по лесу, копается в огороде. Днем, да еще летом, это так-сяк. Каждый день из Подлесного и соседних районов наезжают люди за лесом. Можно иногда и самому сходить в Подлесное (всего каких-то пять километров) или в Терногородку на базар. А зимой?.. Как ему там в долгие вечера, под вой ветра и стон деревьев за окном? А в еще более долгие, нескончаемые ночи?.. Когда что-то будило девушку или она сама просыпалась от тяжелых сновидений в зимнюю полночь, Яринка прежде всего вспоминала об отце. Прислушивалась к завываниям ветра за окнами, и сердце ее болезненно сжималось.

Тогда она долго лежала с раскрытыми глазами и старалась угадать, что делает, что чувствует и о чем сейчас думает ее отец, совсем один в темной лесной хате? Словно наяву, слышала шум и скрип высоких осокорей, унылый вой ветра в орешнике. И от этого становилось еще тоскливее, и она долго не могла снова уснуть, а утром просыпалась утомленной, разбитой и вялой.

В дальнейшем, чем больше о нем думала, тем более сиротливым и несчастным казался ей отец. Он как бы преждевременно худел и старился у нее на глазах. Перестал бриться и отрастил круглую, реденькую, рыжую бородку, в которой раньше времени заметно начала пробиваться седина. Жалость к отцу, острая, болезненная любовь с каждым днем все сильнее охватывали девушку.

Она с нетерпением ждала каникул или какого-нибудь праздника, чтобы помчаться в лес, неделю, две, а то хоть и денек пожить у отца, навести порядок в по-бурлацки запущенной хате и хозяйстве, хоть немного позаботиться о нем самом.

Дни и недели, проведенные с отцом, когда они бывали неразлучны, перебрасывались за день едва ли несколькими фразами и все же оба чувствовали себя необычайно счастливыми, - те дни, возможно, были бы самыми радостными в тогдашней ее жизни, если бы она, вырвавшись к отцу в родной лес, не начинала сразу же по приезде думать о дедушке Несторе, беспокоиться, бояться, не случилось ли с ним, пока ее не было, чегонибудь плохого.

Хотя дедушка Нестор и бодрился, но был он уже слабым; как говорится, пока держался, но без внучки чувствовал себя невесело. И не потому, что не мог сам о себе позаботиться, но, скорее, потому, что уже не мог, как и отец, скрывать, что без внучки, пусть даже и несколько коротких дней, ему оставаться тоскливо. Хмурился, чуть не плакал, как ребенок, когда она собиралась в дорогу И точно так же, чуть не со слезами радости на глазах, встречал внучку, когда она возвращалась. Не скрывал того, что ждал ее все это время, со старческим, почти детским нетерпением посматривая на дорогу. А еще никогда не забывал приготовить к ее приходу какой-нибудь немудреный, но неожиданный и потому приятный гостинец.

А теперь нет уже у нее и дедушки...

В первый год войны, разрываясь между трудными заданиями, небезопасными операциями и дальними дорогами, Яринка старалась наведываться к ним хоть иногда, присмотреть и подбодрить обоих. Но чем дальше, делать это было все труднее и труднее. Особенно во второй год войны, когда она перешла почти на нелегальное положение и показываться в Скальном ей было просто опасно.

И ее дедушка, ее милый дедушка Нестор, который всегда нетерпеливо ожидал ее и горячо любил, не представляя себе жизни без внучки - последней любви, последнего тепла в своей жизни, - так и умер, не дождавшись Яринки из ее опасных странствий. Умер зимой, во второй год войны, один в пустой холодной хате, никем не присмотренный. Рассказывали потом соседи: чужие люди нашли его уже окоченевшим на второй или третий день после смерти, в промерзшей хате... Похоронили из милости, говорили, даже без гроба, завернув в дерюгу.

А Яринка не смогла тогда (боясь попасть в лапы Дуське Фойгелю) навестить даже его могилу.

А отец так и жил, работал в своем лесу. Девушка знала, что и его отец, Яринкин дедушка, тоже был лесником. Вся их семья жизни своей без леса не представляла. Дедушка Нестор, рассказывала мама, когда отдавал свою дочь замуж за отца, сказал будто бы на свадьбе, подвыпив: "Жаль мне тебя, дочка, в лес отдавать. Еще волки загрызут или со скуки зачахнешь. Лесники уже и разговаривать по-людски разучились!" А Яринкин отец на то будто лишь по-своему кротко улыбнулся. Мама просто посмеялась над этой шуткой, а кто-то из дальних родичей отца - близких уже не было - обиделся. Отец любил лес и, видимо, скучал без него. Эта любовь, наверное, немного скрашивала (если только скрашивала!)

боль утраты и одиночество... А перед самой войной

согласилась перебраться к нему на хозяйство двоюродная тетя Агафья, совсем старенькая, одинокая, чтобы было хоть с кем словом перекинуться, душу отвести.

Когда на бюро Федя Кравчук спросил, кем она хочет стать и Ярпнка ответила, что еще не знает, она ничего не скрывала. Она и в самом деле не знала. Не знала, будет ли куда-нибудь поступать учиться, так как не представляла себе, как она сможет на целый долгий год оставить на произвол судьбы дедушку в Скальном и отца в лесу и уехать в какой-нибудь далекий город.

...Но сложная проблема разрешилась неожиданно: ее перечеркнула война.

В воскресенье, утомленная экзаменационной лихорадкой, Яринка немного заспалась. И когда выбралась в местечко, чтобы сделать кое-какие покупки для дома, солнце уже стояло высоко над трубой сахарного завода и припекало все сильнее и сильнее. А на песчано-серой площади, словно вытоптанном на камне прямоугольнике, перед райисполкомом - зарябило в глазах от фуражек, брылей и женских платков - оцепенело стояла непривычно молчаливая толпа. С высокого крыльца из черной тарелки репродуктора неразборчивыми издалека, громкими словами гремело радио, отдаваясь эхом где-то далеко за стенами парка.

Что-то необычное, что-то тревожное послышалось девушке во всем этом. Яринка подошла и остановилась за спиной высокой стройной девушки в коротеньком, белом в синий горошек платье. Девушка заслоняла крыльцо, людей впереди, репродуктор, мешала вслушиваться, улавливать смысл того, что доносилось из репродуктора.

Коснувшись пальцем загорелого локтя высокой девушки, Яринка почему-то приглушенным голосом взволнованно спросила:

- О чем это?!

Девушка неторопливо оглянулась, какое-то мгновение смотрела мимо Яринки странным, обращенным неизвестно куда взглядом больших карих глаз, словно не понимая, чего от нее хотят. Потом подняла длинные густые ресницы, глаза ее сразу прояснились, а полные, крепко сжатые губы дрогнули.

- Война... - ответила она тоже тихо. И вдруг радостно воскликнула: Яринка!.,

- Галя!..

Они бросились друг к другу. Сильной рукой Галя Очеретная притянула к себе низенькую, щупленькую Яринку, и та доверчиво прильнула, прижалась щекой к ее горячему плечу, да так и стояли они молча, пока не отдалось эхом последнее слово сообщения о

внезапном начале таинственной и страшной войны.

На какое-то мгновение над площадью повисла гнетущая, настороженная тишина. И Галины слова, хотя и сказанные приглушенным голосом, услыхали все, кто стоял вблизи.

- Что же теперь будет? - тоскливо спросила она то ли Яринку, то ли себя.

На них оглянулись. Невысокий, коренастый парень с круглой, низко остриженной головой смерил Галю долгим, почти презрительным взглядом и сердито бросил:

- А вот... то и будет!.. Как дадим - зубов за месяц не соберет в своем Берлине!.. Если, разумеется, тот Берлин уцелеет...

Галя смутилась, ничего на это не ответила. А Яринка лишь теперь заметила рядом с тем стриженым длинного, по-мальчишески костлявого - его почему-то прозвали Радиобогом - эмтээсовского Леню Заброду. Невдалеке от него стояли несколько хлопцев из их десятого.

А чуть в стороне, возле самого крыльца, опираясь плечом на акацию, маячил Дуська Фойгель. Тот самый Дуська, который еще в восьмом, в страшный для Яринки день, пугая девушек подбитой вороной, потом преследовал ее, Яринку, а позднее, после истории с его отцом, перевелся в другую, сельскую школу, исчез на целых два года с ее глаз, чтобы снова прошлой осенью возвратиться назад, уже в десятый класс. Стоит вот, повернув голову в их сторону, вкрадчиво, изредка поблескивая своими белыми, жутковато странными глазами...

Девушки выбрались из толпы, прижавшись друг к другу, пересекли площадь и остановились только на середине мостика.

Глядя вниз, в затененную мостиком глубину Черной Бережанки, Галя тихо и грустно сказала:

- Может, и мой отец где-то уже там...

- Где это - там? - не поняла Яринка.

- Ну... там!.. Его призвали в Красную Армию еще в начале мая. Он у меня - тракторист... А там - там танкист. Он младший лейтенант...

На мостике стояли только они двое. Тишина вокруг казалась оглушающей. Словно в жатву, палило сверху солнце. И даже речка, ослепительно блестевшая под солнцем, не приносила прохлады.

Яринка молчала. Стояла, опершись грудью на поручни моста, смотрела в воду и только теперь вспоминала, что не виделась с Галей Очеретной по-настоящему тоже около двух лет, еще с того времени, когда вместе учились в восьмом. Тогда Яринка была даже два или три раза у Гали дома, вот там, за речкой, на Выселках. А однажды, во время зимних каникул, привезла

подругу к отцу в лес. Бродили там целый день по сугробам, навестили могилу матери и положили на могилке, прямо на слепяще-белый снег, гроздь калины... В девятый класс Галя не пошла. Почему-то внезапно бросила школу... С тех пор они встречались случайно раз или два. А вот теперь встретились, и появилось такое чувство, словно разлучились они только вчера...

- Как же ты теперь, Галя, где? - помолчав, спросила Яринка.

- Работаю в районной типографии ученицей. Теперь, считай, самостоятельным наборщиком. - И, вздохнув, грустно добавила: - Вот только не знаю, что и как будет теперь со мною, да и с нами всеми...

- А я, - сразу спохватилась Яринка, - сдам последний экзамен - ив военкомат. Попрошусь санитаркой на фронт, телефонисткой, а то и разведчицей. Мало ли что там!..

Поняла, что такое решение пришло ей в голову только теперь, сию минуту" и совсем этому не удивилась,

Галя немного помолчала, думая о чем-то своем.

- А я, - отозвалась она немного погодя, - еще не знаю... Отец где-то там, на фронте. У мамы, кроме меня, еще двое маленьких... Не знаю, ничего я сейчас не знаю, Яриночка...

На третий день после начала войны в школе произошел бунт. Ученики старших классов категорически отказались сдавать экзамены по немецкому языку.

В десятом иностранный - немецкий - был последним экзаменом. Но... ни один выпускник на тот экзамен так и не явился. Ни один, кроме Яринки Калиновской, Да и она явилась только потому, что пожалела учительницу, у которой (правда, разделяя эту честь с Дуськой Фойгелем) считалась лучшей ученицей.

Взволнованная и, по правде говоря, напуганная этим бунтом, старушка особенно и не спрашивала экзаменующихся. Задала два-три вопроса, попросила перевести полстранички текста - и вот она, Яринка, уже вольная птица! Осталось позади целое десятилетие школьной жизни, и она, возбужденная и растерянная, мчится вдоль необычно пустого коридора. Мчится как на крыльях через широко распахнутые двери классов к выходу и... посредине длинного коридора лицом к лицу сталкивается с Дуськой Фойгелем...

Дуська, как и все в классе, экзамен по немецкому языку бойкотировал. И бойкотировал, пожалуй, наиболее демонстративно. Хотя для него этот экзамен - пустяк. Ведь всем известно, что немецкий язык для него родной, знает его с детства, от отца, происходившего из херсонских немцев-колонистов. И знал Дуська его так же хорошо, как украинский или русский от

матери, дочери бывшего начальника железнодорожной станции Скальное.

Дуська тоже был чем-то возбужден и тоже куда-то торопился. Однако, встретив Я ринку и поняв, откуда та вышла, остановился. Остановился с явным удивлением.

Криво, не понять, то ли иронически, то ли довольно, улыбнулся:

- Что? В самом деле решила сдавать?..

Яринка насторожилась. Может быть, не столько по= тому, что он - старше ее года на три - когда-то так настойчиво преследовал ее, и не потому, что этот последний школьный год они вообще молчаливо избегали разговоров и встреч наедине, а главное, потому, что после ареста старого Фойгеля между ними установились особые, известные лишь им двоим, сложные отношения, которые исключали всякие разговоры и всякую общность.

- А что?! - ощетинившись, побаиваясь какой-то неприятности и готовясь дать сдачи, переспросила Яринка.

- Ничего такого... - отступая в сторону, протянул Дуська. - Другие же вот отказались. Бойкотируют. Какникак язык фашистов, язык Гитлера...

Яринке послышалась в его словах глубоко скрытая ирония. По крайней мере, что-то язвительное в тоне.

И она сразу, сердито и решительно, отрубила:

- Язык здесь ни при чем! Язык есть язык! Наконец - это не язык Гитлера, а, скорее, язык Гёте, Шиллера, Гейне, Маркса!..

- Ну, а я разве что говорю! - торопливо согласился Дуська. - Да и потом... Война же только начинается, всего ке предвидишь...

- А что мне предвидеть?!

- Да ничего... Это я так, между прочим...

И сразу же исчез где-то в конце коридора, оставив на душе, впрочем, не впервые, какой-то неопределенный, неприятный осадок.

А война подкатывалась так быстро, так стремительно, что не хватало времени для того, чтобы как-то собраться с мыслями и хоть немного спокойнее все обдумать.

Едва успев выдержать экзамены, юноши из десятых и девятых классов направились в райвоенкомат, а девушки - на курсы медсестер. Юношей в военкомате выслушали, даже похвалили за то, что пришли, но посоветовали временно подождать. Поучитесь, мол, на месте, а потом само дело покажет: у кого подойдут года - призовут в армию или направят в военные училища для подготовки квалифицированного пополнения: танкистов, артиллеристов, летчиков.

И теперь хлопцы, вступив в организованное в районе народное ополчение, вместе с ветеранами прошлых мировой и гражданской войн, под руководством молоденького младшего лейтенанта из военкомата учились на площади возле завода сдваивать ряды, подходить с рапортом к старшему начальнику, ползать по-пластунски, бросать деревянные гранаты и разбирать и собирать винтовку образца 1891 года.

А девушки здесь же, в школе, под присмотром старенького врача Зотовой, овладевали искусством первой неотложной медицинской помощи, учились перевязывать раны, останавливать кровотечение, накладывать жгут и самой примитивной транспортировке раненых.

Несколько раз, когда занятия кружка медсестер для большей наглядности проводились не в школе, а в помещении районной больницы, Яринка встречалась там с Галей Очсретной. Оказывается, Галя тоже училась на курсах медсестер, только в старшей группе. Встретившись в больнице, они садились рядом, практикуясь в перевязках друг на друге. А возвращаясь домой, долго еще прогуливались возле речки, разговаривая о войне, вспоминая общих знакомых, школу, задумываясь вслух о будущем и беспокоясь о том, что ждет их в этом будущем.

Одним словом, пока что все у Яринки шло как-то само по себе, а война сама по себе. В сводках ежедневно возникали новые направления, назывались все новые и новые оставленные врагу города. А местная устная почта, так называемая ОБС - "одна баба сказала", - не без определенных оснований, которые, к сожалению, часто подтверждались в информации об оставленных городах и продвижении гитлеровцев, значительно опережала и без того невеселые сводки Информбюро. Появились лозунги, обращения, меры по борьбе с паникерством.

Слово "паникер" стало самым ругательным и почти равнялось слову "изменник".

Большинству людей как-то не верилось, не хотелось верить, что немцы уже в Житомире, Белой Церкви или Виннице. Верили и со дня на день, с часу на час ждали извещения о том, что гитлеровцев остановили и дан приказ о решительном и победоносном наступлении.

Мимо Скального, в обоих направлениях, с севера на юг и с юга на север, один за другим проходили эшелоны с солдатами, оружием, боеприпасами и продовольствием.

Позднее пришел первый эшелон с ранеными и, долго не задерживаясь, прошел дальше. Потом первые раненые появились в скальновской больнице, а школу начали оборудовать под госпиталь. На территории сахарного завода разместился штаб

какой-то воинской части, вдоль железной дороги, вокруг станции и сахарного завода установили зенитки.

Потом не явилась на курсы медсестер, куда-то исчезла Галя Очеретная.

А потом... Потом распространились слухи о переодетых милиционерами, красноармейцами и просто цивильными гражданами немецких шпионах, о диверсантах-парашютистах, отравленной воде в колодцах и диверсиях на железной дороге. В местечке, на станции, возле элеватора и завода порой и в самом деле задерживали каких-то людей и целыми группами, в большинстве женскими, сопровождали их в милицию, штаб народного ополчения, что находился в помещении МТС, или в войсковую часть.

А еще позднее, уже во второй половине июля, почти все трудоспособное население вывели на рытье противотанкового рва в степи за Казачьей балкой, вдоль левого берега Черной Бережанки.

Оттуда, из-за Черной Бережанки, Яринку и вызвали в райком комсомола.

Она явилась туда прямо с лопатой в руках, обветренная, загорелая на солнце, с потрескавшимися губами, в грязном легоньком пыльничке и стоптанных резиновых тапочках.

В числе самых видных комсомольских активистов своей школы, тем более района, Яринка не числилась. А вот в райком в такое время, с окопов, да еще и немедленно, вызвали именно ее... Почему же? Зачем? Яринка немного встревожилась и немного обрадовалась: возможно, куда пошлют, скажем, на фронт? "А как же отец, дедушка? - подумала она и тут же решила: - Все равно пойлу или поеду, ведь сейчас война! А то еще дадут какоенибудь простенькое и неинтересное задание..."

В райкоме ее принял сам секретарь Федя Кравчук.

(Его в районе, кстати, все звали - Федя.) Яринка так и Б-сшла с лопатой в его вечно прокуренный маленький кабинет с одним окном.

- Ты лопату-то оставь пока возле порога, - сказал ей Кравчук, скупо, сдержанно улыбнувшись. - А теперь проходи и садись вот здесь, - он показал на стул не напротив, а рядом с собой.

Был Федя, как всегда, худой, высокий, длинношеий.

Только теперь еще и заметно осунувшийся, - видно, не спал и не отдыхал уже не одну ночь.

Усадив не менее утомленную, щупленькую, как подросток, Яринку, закурил новую папиросу, тряхнул копной густого, непокорного чуба и начал рассматривать девушку, словно впервые ее увидел. Рассматривал молча, долго, так, что Яринке

стало от этого даже как-то и неудобно.

Наконец, сбросив пепел с папиросы прямо на стол, на какие-то бумаги, Кравчук еще раз тряхнул чубом и неожиданно спросил о том, о чем знал и без ее ответа:

- Была на окопах?

- Да...

- Рыла противотанковый ров?

- Уг-гу...

- Ну и как?.. Скоро закончите?

- На нашем участке, считай, закончили.

- Та-ак... Ты, Калиновская, комсомолка, девушка своя, серьезная, взрослая, и нам с тобой нечего в жмурки играть...

От этих слов Яринка внутренне подобралась и насторожилась.

- Школу окончила? - спросил Кравчук. - Экзамены там и все такое сдала?.. Ну и это... То есть далее... - Он снова умолк, словно подыскивая слова, а Яринка ждала окончания предложения и не торопилась с ответом. Дальше как думаешь?.. То есть что думаешь делать?

- Не знаю... Еще не успела подумать как следует...

Учусь на курсах медсестер. Возможно, в госпиталь или на фронт. О работе беспокоиться не приходится, лишь бы руки.

- На фронт?! - Кравчук будто даже оживился, будто и усталость с его лица сошла. И еще раз, острее и пристальнее посмотрев на девушку, спросил: - Ну, а с немецким как у тебя? Были такие слухи - хорошо он тебе давался.

- Давался! - встрепенулась и то ли с гадливостью, то ли с раздражением сказала девушка. - Давался!..

Терпеть я его теперь не могу! И не напоминай лучше!

Лицо Кравчука нахмурилось, стало каким-то сердитым.

- А это ты уж совсем напрасно, Калиновская. Совсем напрасно. Ну, а все же... Если бы довелось что-нибудь там написать, прочитать, объясниться с кем на немецком, поговорить, если что?..

- Ну, если бы уж было крайне необходимо... С ножом к горлу... А так... Не лежит сейчас у меня душа к этому языку...

- Мало что! - строго бросил Кравчук. - Вот до войны этой тоже мало у кого душа лежит. А... Одним словом, это ты напрасно! События могут повернуться повсякому, и твои знания их языка могут нам пригодиться...

Яринку неожиданно резануло то, что Кравчук, совсем того не зная, почти слово в слово повторил то, что сказал Дуська Фойгель. Поначалу девушке захотелось даже сказать, что ей уже, мол, один такое говорил, но она сдержалась и промолчала.

Кравчук вместе со стулом придвинулся ближе к ней, положил свою длинную, с тонкими узловатыми пальцами руку Яринке на плечо и, наклонившись к самому лицу, сказал притихшим голосом:

- Слушай, Калиновская... Идет война. Фашист напал на нашу страну, а мы с тобой комсомольцы. То, что я тебе скажу, тайна. А разглашение военной тайны в военное время - ты сама хорошо знаешь, не маленькая, комсомолка и со средним образованием... Видишь, Калиновская, наступила такая година, когда все мы - хочешь не хочешь - солдаты. А военные события оказались намного горше и тяжелее, чем мы того ожидали...

Кравчук снова вздохнул, помолчал, будто все еще не решаясь сказать то, что хотел сказать, - то ли ему тяжело, то ли неловко было об этом говорить...

- События сложились так, что фашисты могут... появиться и здесь... Разумеется, временно. Но наши с тобой знания, наша работа могут потребоваться не только на фронте, но и здесь. Даже особенно здесь. Больше я тебе ничего не скажу, не имею права. Но ты должна решить... И самое главное, просто приказ: держи язык за зубами. О нашем разговоре никому ни слова. А теперь, если ты меня поняла и согласна, говори. Если что не понятно - спрашивай. Что могу - скажу. Если же хочешь подумать - подумай. Время у нас еще есть. Немного, но еще есть...

Но времени не только на долгие, но и на короткие разговоры не было уже совсем. Об этом еще не знали ни Яринка, ни Кравчук, ни те, кто уполномочил Кравчука на разговор с Яринкой.

Яринка даже не задумалась над этим в то время.

Точно так же, как не знала и только в самых общих чертах могла себе представить, чего именно требует от нее Кравчук. Понимала, это должно быть похожим на что-то слышанное от старших, вычитанное у Островского, Войнич и еще во многих подобных книгах. И она решила сразу. Решила, что раздумывать здесь ей нечего, что одними мыслями в такое время ничему не поможешь, что в комсомол она вступила не для того, чтобы долго колебаться, и наконец высказала все это в нескольких словах:

- Думать тут не приходится. Буду делать, что прикажут. Если необходимо - сегодня, сейчас...

Нет, сейчас от нее еще никто и ничего не требовал.

Кравчук только посоветовал никому не попадаться в местечке на глаза. Пусть она, лучше прямо сегодня, возвращается домой и живет себе у отца. Живет и ждет... Если же будет необходимость, ее найдут и позовут. Обратятся ог него - Кравчука. Обратятся люди, которых она хорошо знает, и передадут условленные слова... Могут, правда, обратиться и не от него непосредственно.

Кто же знает, как это там сложится! И может, это будет кто-то знакомый, а гляди - и совсем незнакомый. Но - несмотря на все - он должен обязательно сказать:

- Приглашает тебя, девушка, на свадьбу Федор.

Всего шесть слов. И только в такой, строго такой последовательности.

И она, Яринка, тоже должна ответить шестью словами. И тоже в строгой последовательности!

- Пусть погуляет до осени тот Федор...

Ночь была темная, в общем-то не холодная (мороза совсем не было), но какая-то неприятная, промозглая сырость пронизывала до костей. Несколько часов неподвижности после тяжелого и долгого пути по грязи давали себя знать. Яринка подумала, что так, сидя под холодной стеной на сильном сквозняке, можно и замерзнуть, но не шевельнулась. Кто-то рядом застонал, затем хрипло и негромко выругался. Вокруг слышались шорох перетертой соломы, возня, стон и тихое бормотанье многих людей, сгрудившихся в темном коровнике. Воздух, несмотря на выломанную крышу, выбитые окна и двери, был тяжелый.

Яринка тихо потянулась туда, где должны быть двери. Вдохнув холодного воздуха, насыщенного запахом оттаивающей земли, вздохнула.

Какой родной и какой далекий, почти воображаемый запах! Так, словно бы никогда в жизни и не было ни этого запаха, ни вербовых пушистых почек, ни терпкой, приятной горечи калины на губах, ни веточек орешника с бусинками бледно-зеленых, словно пудрой осыпанных, сережек.

Возле ворот в густой темноте и потому, казалось, гдето далеко-далеко тускло светился керосиновый или карбидный фонарик и гомонили люди. Потом, громче, послышалось какое-то немецкое слово и за ним, как треск сухой ветки, выстрел. Наверное, так, от ночной скуки.

Потому что сразу за ним все покрыл зычный, но какойто словно деланный смех нескольких охранников.

Думы об отце не покидали Яринку. Потом вспомнились лес, осокори вокруг подворья, заросшее ярко-зеленым мхом, долбленое корыто возле колодца, длинный, темный сарай, полный запахами меда, вощины, лежалых груш и прелых листьев. И те немцы, первые немецкие вояки, которых она в своей жизни увидела на собственном подворье, после тога как Федя Кравчук отослал ее из Скального домой и наказал ждать условленного сигнала.

Впрочем, были они, эти висельники, просто веселые молодые парни в чужой ненавистной униформе, с чужим оружием в руках.

Сначала, как только подошли к двору, вели себя довольно сдержанно, осмотрительно и настороженно.

Они приехали на мотоциклах, с грохотом, треском и беспорядочной стрельбой. Троих с пулеметом оставили у ворот, четверых с автоматами поставили за осокорями со стороны леса, а еще трое, тоже с автоматами наготове, зашли на подворье. Один просто так, будто от нечего делать, дал очередь из автомата в воздух над хатой и что-то крикнул.

Увидев немцев, отец заметно побледнел, но вышел во двор. Бабушка Агафья перепугалась насмерть, как оцепенела на лавке у печки, так и не поднялась. Только время or времени что-то шептала побелевшими губами и часто крестилась непослушными, дрожащими руками.

Яринка же, удивляясь сама себе, никакого страха не почувствовала и направилась к дверям вслед за отцом.

Он было запретил ей выходить, однако Яринка не послушалась. Вышла и остановилась, подперев плечом косяк наружных дверей. Молча и пристально следила за пришельцами и совсем не чувствовала страха, а лишь ощущала какую-то странную душевную пустоту и что-то холодное, чужое, дико-ненужное, что внезапно ворвалось неведомо откуда на родное подворье и убило - словно ранний мороз свежий цветок - все, что было до этого своим, близким, родным и самым дорогим. И может, самым мучительным из всего, что она почувствовала в то мгновение, было сознание своего горького, отчаянного бессилия, которого не принимало и против которого протестовало все ее существо.

Трое на подворье по всем признакам были обычными, разве что только в чужих мундирах, юношами. Один, невысокий, коренастый, смугловатый, с длинным крючковатым носом, осмотрев подворье и увидев у порога пожилого мужчину и молоденькую девушку, как-то успокоительно снял каску, вытер со лба грязным платочком пот и (был, наверно, здесь за старшего) приказал двум другим прочесать двор. Потом, оставив мотоцикл, направился прямо в хату.

- Рус полшевик? - спросил он.

Не ожидая ответа, оттолкнув отца локтем, выставил впереди себя автомат и зашел в хату.

Двое других, тоже снявших каски, оказались совсем молодыми парнями, с приятными, весьма арийскими лицами: полные, румяные, по-юношески припухшие губы, едва покрывшиеся белесым пушком щеки, остриженные под бокс рыжеватые головы. Только у одного чубчик совсем-совсем рыжий, а у другого - светлее. Они сразу бросились к сараю, в хлев, потом

к деревянному, рубленому, с железным засовом амбару. Ключей они не спрашивали. Довольно ловко сбили засов прикладом, а замок на двери кирпичного погреба прострелили из пистолета.

На хозяев никто не обращал внимания, словно их здесь и близко не было. Прежде чем войти в сарай, хлев, амбар, погреб, что-то кричали, стреляли из автомата и только потом уже входили.

Искали они "рус зольдатен", "рус полшевик", но находили, весело смеясь и громко крича, что-то более для них приятное. Тот, старший, с крючковатым носом и ксарпйским обликом, вышел из хаты, неся в одной р"ке полную каску куриных яиц, а в другой подойник с молоком. Рыжий достал из погреба два кувшина кислого молока и понес их, перекинув ремень автомата за шею, а каску повесив на руку. Белявый, схватив за ножки, тянул из хлева четырех кур, которые оглушительно кудахтали и били крыльями по земле. Вынес кур и крикнул, будто кого-то звал на помощь. И только тогда те, что были за осокорями и возле ворот, убедившись, что никакая опасность им не угрожает, а потерять они могут немало, бросили своп мотоциклы и ринулись тоже на подворье. Хохотали, орали, метались по подворью. Молодые, чужие, веселые и довольные собой и своими действиями парни.

Перепуганно кудахтали куры. В хлеву снова затрещал автомат, раздался дружный смех, и двое выволокли за задние ноги - да так и тянули до самого мотоцикла - пристреленного поросенка. Затем арийские парни разлили в алюминиевые кружки молоко, выпили, закусили сырыми яйцами (к счастью, корова была в лесу, далеко от хаты), и уже все разом пристально заинтересовались пасекой...

В промежутках между взрывами веселого хохота и короткими выкриками Яринка улавливала отдельные слова из той славянско-немецкой мешанины, которыми они прославились от Одера до Волги: млеко, курка, масло, яйки, шпек... Из тех слов, да еще из того, как они начали орудовать на отцовской пасеке, Яринка поняла, что парии уже тренированные и опытные... Сразу откуда-то взялись в их руках факелы, намотанные из тряпья и облитые бензином. Ульи они просто разбивали, разозленных и напуганных пчел даже не обкуривали, а прямо сжигали, отмахиваясь от них вонючими факелами, выбирая и складывая в ведро рамки с сотами.

За каких-то десять - пятнадцать минут уничтожив три улья, они, по резкой команде смугловатого, вмиг все прекратили и бросились к своим мотоциклам. Только теперь, усаживаясь на седла и укладывая завоеванные трофеи в коляски, они милостиво

заметили и туземцевхозяев. Один помахал рукой, другой снисходительно улыбнулся, рыжий даже крикнул, придерживая одной рукой руль, а другой ведро с сотами:

- Мой горячий привет хорошенькой фрейлейн!.. - И затем обратился к смугловатому, обводя глазами подворье: - Слушай, Фриц, а не плохой когда-нибудь будет для тебя хуторок, а?

- И вот такая паненка! -добавил белявый.

Рыжий загоготал и снова крикнул Яринке:

- До скорого свидания, фрейлейн!..

А смугловатый, - это в его коляске лежал убитый поросенок, - толкнув под бок соседа в седле с большим кожаным ранцем за плечами, будто укоризненно бросил рыжему:

- Боюсь, Курт, что хорошенькая дикарка не знает человеческого языка и не поняла тебя!

- Ничего, - хохотал Курт. - Мне бы хоть полчаса свободного времени, мы с нею поняли бы друг друга и без слов!..

Яринка, разумеется, не унизилась до того, чтобы отвечать на оскорбительные слова вражеского солдата, только подумала, глядя вслед им, веселым, самоуверенным парням, мчавшимся на мотоциклах вдоль лесной опушки: "Ну что ж, может, и до скорого!.. Думаете, дикарка?.. Думаете, здесь будете господствовать, а я у вас буду за прислугу или рабыню? Никогда этому не бывать, молодчики! Не сварим мы с вами каши. Не сварив!

А если и сварим, то уж очень крутой и горячей окажется для вас эта каша..."

Подумала, еще точно не зная, как дальше будет жить, не ведая по-настоящему, что творится в мире, на фронте, ошеломленная тем, как быстро, чуть ли не за месяц, очутились уже на ее подворье, в ее лесу эти веселые и самоуверенные парни.

Скорее, остро ощутила, чем подумала, даже не представляя того самого страшного, что принесли на ее землю и ей лично те проворные парни. Подумала, по-видимому, зная только одно: вот так, по воле тех веселых парней, по их указке, она жить не будет, просто не сможет...

Здесь, на этой земле, должен быть и жить кто-то один:

или она, или они, те веселые и пока еще такие беззаботные завоеватели. А вместе им здесь будет тесно. Такой жизни она не выдержит. Да и не нужна она ей, такая...

Дмитро вошел в ее жизнь нежданно-негаданно, может, и не так уж случайно.

Но все же, если бы не война, они, возможно, так никогда бы и не встретились.

Ту первую и последнюю в ее жизни любовь нашел ей сам

отец...

После того как фронт каким-то чудом обошел их хату, с грохотом, громом и пожарами прокатился через Подлесное далее на юг и восток, к Новым Байракам, отец (хотя она его и отговаривала, чтобы не выходил) сразу же подался напрямик к Подлескому, откуда и до сих пор доносились выстрелы и какой-то глухой грохот... Кстати, смелый - ее молчаливый, как будто даже застенчивый отец. Смелый и при любых обстоятельствах, - это обнаружилось позднее, - не теряет самообладания...

До Подлесного отец, вероятно, так тогда и не дошел.

Вскоре возвратился. Покрутился на подворье, заглянул в хлев, зашел в сарай, потом взял из сеней легонькую липовую лесенку, рыжее шерстяное одеяло и крикнул, чтобы Яринка шла за ним.

Он, ничего не объясняя, шел молча. Яринка - точно так же молча - за ним. Скачала узенькой лесной стежкой через густой черноклен, потом поредевшим дубняком, балкой, обходя кусты орешника, вдоль родникового ручейка возле камышовых зарослей и далее старым дубовым лесом. Так добрались они до позапрошлогодних вырубок, где черные пни еле виднелись из-под свежих зарослей лапчатой бузины, материйки, белых гроздьев валерьяны, густого папоротника, синего цикория, нанизанных на тонкие стебли фиалковых лесных колокольчиков.

С новобайракской дороги, в нескольких десятках шагов от вырубки, перебивая лесные запахи, резко и неприятно несло войной: горелой резиной, кислятиной свежих воронок, паленой шерстью, одеждой...

Вдоль дороги в кюветах и кустах валялись сожженные и подбитые машины, легкие и зеленые танкетки, искореженные, с развороченными передками пушки. А между ними, в пыли и вытоптанной траве, - пустые медные гильзы, противогазы, зеленые каски, расплющенные (видно, по ним прошли гусеницы танков) винтовки и пулеметы.

Тут же, в спешно вырытых ямках-окопчиках и просто так, на земле, коченели трупы красноармейцев с неестественно скрюченными руками, вывернутыми шеями, вдавленными в землю лицами. Один упал навзничь прямо посреди дороги, широко раскинув руки с зажатой в левой руке винтовкой. Яринка взглянула на его лицо и сразу испуганно отвела взгляд, увидев его широко раскрытые, словно выцветшие на солнце, совсем белые глаза, уставившиеся в бездонную синеву неба.

Те глаза потом еще долго не покидали ее в мыслях бессонными ночами. Они всплывают в ее представлении и теперь, те неправдоподобно белые глаза, глаза самой войны.

Потом, в какое-то мгновение, немного опомнившись, она заметила и немцев. Первых мертвых фашистов, которые ворвались сюда, в ее Подлесное, в ее зеленые, кудрявые, милые леса. В зеленовато-мышиных куцых мундирчиках, их почему-то сложили несколькими штабелями вдоль дороги. Сложили аккуратно, труп на труп, по четыре или пять в ряд, как поленья дров. (Потом она еще ке раз встречалась с таким порядком или обычаем гитлеровских вояк - укладывать трупы штабелями перед тем, как закапывать в землю.)

...Тот хлопец с бледным, обескровленным лицом и заострившимся носом, молодой, белявый и чубатый, хлопец, который потом и оказался Дмитром, лежал на краю глубокой, черной и еще полной порохового смрада воронки. Был он живой, только без сознания. Правая нога в сапоге, левая босая, залита кровью. Штанина на ней разодрана высоко вдоль шва и засучена. Сверху, над коленом, тугой жгут из простой пеньковой бечевки, а колено неуклюже перебинтовано целым узлом насквозь пропитанного кровью тряпья, "Тато!" подумала с неожиданным волнением Яринка и помогла ему переложить того хлопца на лесенку, застеленную вчетверо сложенным одеялом... Парень при этом даже пальцем не пошевельнул.

Дома его уложили на широкий толчан, в уютной кухрньке за печкой, чтобы не бросался в глаза посторонним.

Яринка промыла водкой разбитое колено, рану на правой руке выше локтя, приложила к ранам чисто промытые листки подорожника и перебинтовала чистым, прокипяченным полотенцем так, как ее учили на курсах сестер-санитарок в Скальном. Только после этого отец ушел в Подлесное и привел знакомого врача. (При всей молчаливости и замкнутости у него были всюду в окружающих селах хорошие знакомые и друзья, многие из которых никогда и ни в чем ему не отказывали.)

Белявому, курносому хлопцу с большими голубыми глазами посчастливилось выжить. Потом выяснилось, что его зовут Дмитром. Еще позже (он не поднимался с постели почти четыре месяца), в начале зимы, выяснилось, что Дмитро так и останется калекой, так как разбитых в коленке костей, как он потом шутил, "не хватало до полного комплекта". И уже совсем-совсем позднее она узнала, что он не только талантливый профессиональный художник, но и смелый, остроумный, веселый и немного наивный хлопец.

И не с этого ли, собственно, все и началось?..

Долгими осенними и зимними вечерами Дмитро интересно рассказывал им о городах, где бывал, о художественном институте, который недавно закончил. Разговаривал, спорил с

Яринкой о книгах и, морщась от боли, пересиливая ту боль, пытался преждевременно, без особой нужды подниматься с кровати, а иногда во вред себе и поднимался.

Болезненно осознал, что с его навсегда искалеченной ногой в армии не воевать, да и фронт, может, уже далековато. Осознал это с грустью, но внешне сдержанно.

Убеждал своих спасителей не горевать, ведь наши неудачи на фронтах временные, немецкие войска тут долго ни за что, ни при каких обстоятельствах не удержатся, так как никогда еще и нигде надолго не побеждала человеконенавистническая идеология. Побеждает только тот, кто несет новые, передовые и, главное, гуманистические идеи.

О себе говорил:

- С н-ногами у меня не вышло, это пр-равда!.. Но v меня есть р-р-руки... И они еще пригодятся. Даже здесь.

И кстати, - добавил он, улыбаясь и встряхивая чубом, - есть еще у меня, кажется, и голова!..

Едва поправившись, горячо попросил Яринку, собственно, потребовал, чтобы она связала его с кем-нибудь надежным из местной молодежи, с комсомольцами, с кемнибудь, о ком она знает или догадывается, что он может действовать против фашистов.

Но с кем она могла его, калеку, связывать, к кому вести? К тому же первые месяцы она сама ждала...

А к ним в лес из Подлесного изредка наведывался один новоиспеченный полицай, бывший счетовод из обувной артели Демид Каганец. Наведывался он словно от нечего делать, "по пути", но из его неумелых расспросов и намеков нетрудно было догадаться об его истинных намерениях. Интересовался Каганец, и не без воли какогото высшего начальства, постояльцем Калиновских и состоянием его здоровья.

Еще Дмитро требовал (и требовал настойчиво, даже упорно) бумаги и карандашей. И сколько бы ни доставала Яринка, ему все было мало. Она так и не могла полностью удовлетворить его желание.

Дмитро оказался настоящим и, как ей казалось, блестящим художником с золотыми, что даются одному из тысячи, а может, и сотни тысяч, руками. Он рисовал отца, бабушку Агафью, их хату, осокори, колодец с долбленым корытом и журавлем, длинный, похожий на гигантский курень, сарай, всевозможных птиц. Рисовал остроумные и злые карикатуры на Гитлера, Геринга, Геббельса, перевоплощая их в различных зверей и птиц. Такие острые, что от них даже страшно становилось. И не только бабушка Агафья, но и нетрусливая вообще Яринка следила и

следила, чтобы рисунки не попались случайно на глаза Каганцу, который теперь чаще забегал к ним, просиживал все дольше на скамье у окна, молча выкуривая чуть ли не десяток цигарок из самосада.

Дмитро с самым серьезным видом рисовал Каганца.

И те портреты (пером и карандашом) так разительно походили на оригинал, что Каганец каждый раз расплывался в улыбке и говорил, что это "как на настоящей фотографии".

Глядя на "фотографии", не могла иногда удержаться от усмешки и Яринка так на удивительно похожем портрете Каганца видна была его глуповатая спесь и какая-то особенная, почти дегенеративная тупость.

Ко всем приказам новоназначенной немецкой власти, напечатанным на машинке или тиснутым в гебитской газетке, Дмитро обязательно тут же на полях или на обороте рисовал свои "комментарии". Его "комментарии"

были убийственно остроумны - хотя бы вот тот Гитлер в волчьем обличье, кусавший сам себя за хвост, или Геринг, откормленная морда которого составлялась в том случае, если соответствующим образом сложить нарисованные на листике бумаги два свиных зада.

Когда Яринка принесла из Скального первую в то время листовку, Дмнтро от радости сам себя не помнил.

Он уже не в состоянии был усидеть на месте и все мечтал и мечтал о том, как будет потом иллюстрировать новые листовки (может, даже изготовлять клише из дерева или линолеума) и как будет писать целые воззвания или лозунги против гитлеровцев, призывая к истребительной войне с оккупантами, вселяя в людей веру в победу, сообщая о ходе военных действий на фронтах. Хотя сообщений в те глухие осенние месяцы ему получать было неоткуда, а Яринка и сама не могла ему в этом помочь, но Дмитро не совсем верил ей. Особенно в том, что она и вправду не знает тех людей, которые напечатали эту еще не подписанную листовку.

Со временем вспыхнула в нем страсть рисовать Яринку. Только Яринку. Он (при его неуравновешенном характере и нетерпении) просто житья не давал ей, принуждая позировать каждую свободную минуту. Рисовал ее за какой-нибудь работой, за чтением, в платочке и в беретике, в пальто и платье, на фоне осокорей и возле печки. А то усаживал возле своей кровати на стул и, подобрав нужную бумагу, принимался за большой портрет.

Однажды, в один из таких сеансов, вдруг, как молния, встретились их взгляды, и Яринка поняла, почувствовала всем

своим существом, каждой клеточкой, что вот оно и началось, вот они, выходит, уже и влюбились друг в друга!.. Влюбились и, что самое удивительное, без слов оба чувствуют и понимают это. Вся встрепенувшись от горячего прикосновения его руки, от того особенно глубокого, пронизывающего взгляда его всегда веселых, а в тот миг сразу потемневших глаз, прежде всего испуганно подумала: "Как же это?! А татусь? Не могу же я епо оставить!.." Хотя, собственно, никто еще и не требовал, чтобы она бросала или забывала своего отца. Чувство вконец напугало ее. И она сразу же, усилиями разума, резко, со всей категоричностью юности запретила себе ту первую и, знала, большую любовь.

И долго и упрямо (хотя внешне и незаметно) сопротивлялась своей первой любви...

Какая могла быть радость, какое счастье и какая любовь после смерти матери и в такое страшное, кровавое время, когда миллионы неимоверно страдают, гибнут, истекают кровью. Разве можно, разве имеет она право в такое время быть счастливой...

Весь август и большую часть сентября она жила в лесу. Напрасно выжидая какого-то сигнала от Кравчука, присматривала за Дмитром и, сколько могла, помогала раненым и нераненым окруженцам, каких немало бродило тогда в соседних лесах, по балкам, оврагам и селам.

Фронт быстро откатывался куда-то дальше на юг и восток. Новая немецкая власть организовывалась медленно, и помогать людям на первых порах казалось не так уж и сложно, хотя за укрывательство красноармейцев и вообще всякого "подозрительного" и беглого люда и особенно оружия немецкие комендатуры угрожали смертью.

Кстати, не те ли именно приказы в то глухое время, когда сюда не доходили ни радио, ни газеты, ни письма, пробудили мысль об оружии сначала у Дмитра, а потом у Я ринки?..

- Пока полиция и немцы спохватятся и додумаются, я, если бы были силы, взялся б за это дело сам, - сказал как-то Дмитро, имея в виду оружие, разбросанное в степи и лесах.

А Яринка даже удивилась: как это она не додумалась до этого раньше?

Наконец она нашла работу, хоть немного удовлетворявшую и оправдывавшую ее жизнь. Как только случалось свободное время, шла в лес, бродила вдоль извилистых лесных тропинок, вдоль шляха, межцу глубокими окопами и наспех вырытыми ровиками. Подбирала все, что только попадалось: патроны, невзорваиную или просто брошенную взрывчатку, уцелевшие и поврежденные винтовки, ручные пулеметы, пустые и полные патронов диски. А однажды набрела даже на два автомата.

Собирала все сама, никого в это дело не вмешивая, и прятала в тихом, заросшем орешником, боярышником, крапивой и терном овраге в лесу, который почему-то назывался Островом.

В одно из воскресений она набрела в чаще старой вырубки на целехонький, с замком и недострелянной лентой, пулемет. Рядом с ним в истлевших лохмотьях, отполированный муравьями человеческий скелет и темная глубокая воронка от бомбы.

С этим одна Яринка справиться уже не смогла и впервые попросила помощи у отца, рассказав о своем тайнике.

По правде говоря, прежде чем отважиться на такой шаг, она долго колебалась, спасаясь, чтобы отец, - который если теперь и боялся, то только за нее, - не начал отговаривать ее от опасной игры с огнем.

Отважившись все же, она - настоящая дочь своего отца - в многословные объяснения не вдавалась.

- Тато, надо, чтобы вы мне помогли, - сказала она коротко и прямо.

- Надо так надо, - ответил отец. - А что?

- Да там, в старой вырубке... - махнула рукой в том направлении. Пожалуй, надо захватить и лопату...

И все. И больше ни слова.

Сначала там же, в воронке, захоронили останки человека, а потом отец довольно умело, не удивляясь или не показывая, что удивляется, молча разобрал пулемет, помог дочери отнести его в Остров и там надежно припрятать.

Домой возвращались, не перекинувшись и единым словом о том, чем только что занимались. Только уже недалеко от хаты отец напомнил, что следовало бы сегодня сложить в копну скошенное на той неделе в Грузком и уже подсохшее береговое сено. А Яринка попросила его, если будет в Псдлесном, зайти к врачу за лекарствами для Дмитра.

Потом так и пошло. Молча, слаженно, словно они заблаговременно и обо всем давно и обстоятельно договорились, хотя ка самом деле не обмолвились об этом между собой и словом...

Немцы к ним пока что больше не являлись, хотя в районах и селах уже начала организовываться новая власть. Были назначены немецкие коменданты их называли крайсландвиртами, начальники жандармских постов, шефы вспомогательных райуправ, вспомогательная полиция и сельские старосты.

Все это Яринка воспринимала, в общем, как и надлежало, не особенно, в конце концов, удивляясь. Пришли чужие, вражеские войска, лютые враги, фашисты, о которых она слыхала, много читала, и устанавливают свои порядки. Иного от них никто и не

ждал. Обидно, до боли поражало девушку лишь то, что нашлись, и быстро, людишки, помогавшие немцам, о которых она раньше и подумать такого не могла и которых все это как будто устраивало. Людишки, которые шли на службу к фашистам охотно и даже афишировали это.

Особенно поражало, злило до отчаяния то, что нашлись такие даже среди ее ровесников. Они без особенного принуждения брали в руки винтовку и цепляли на рукав белую тряпку полицая. Это было просто неслыханное падение, гадкое и нестерпимое до того, что Яринка едва сдерживала себя, чтобы не плюнуть такому в морду. Однако сдерживалась, изливая свою досаду и отвращение каким-нибудь презрительным, колючим словом, маскируя его шуткой.

О себе же твердо, с присущим ей упорством решила:

пусть будет что будет, а не только у немцев, но и на немцев, в какой бы ни было форме, работать она нигде и никогда не согласится.

Она и до сего времени не знала, что происходит на фронтах, даже подумать не могла хоть приблизительно, как складываются и сложатся в дальнейшем военные действия, сколько (месяц или годы?) будет продолжаться война, чем и как закончится, но безапелляционно, с гордостью, при воспоминании о которой сейчас, в концлагере, рот ее кривится в болезненно-снисходительной усмешке, с гранитной твердостью решила и знала:

вообще, пока немцы будут здесь, она нигде работать не будет. Разве что по хозяйству, обслуживая себя и родных.

Нетерпение, с каким она ждала сигнала от Кравчука, все росло. От того чубатого и тонкошеего Кравчука, на котором теперь для Яринки, казалось, весь свет сошелся клином.

Но Федя Кравчук с такой же твердой то ли последовательностью, то ли непонятной ей выдержкой опытного конспиратора условного знака так и не подавал.

В нескольких соседних районах - Скальном, Терногсродке, Новых Байраках - уже с первых дней оккупации создались концлагеря - обнесенные в два и три ряда колючей проволокой колхозные коровники, иногда школы, а то и кинотеатры. Туда, за проволоку, бросали советских военнопленных окруженцев, выявленных коммунистов, комсомольских или беспартийных активистов, а порой еврейское население... Порой потому, что вообще отделяли его от окружающей среды в изолированные, со средневековыми порядками, гетто...

Поначалу докатывались лишь страшные слухи с территорий, оккупированных несколько раньше. А со временем начались и тут

вокруг массовые, заранее и достаточно "квалифицированно" подготовленные расстрелы советских людей. В концлагерях умирали от ран, голода и издевательств десятки и сотни пленных. На городских площадях и сельских базарах страшными привидениями поднялись виселицы. И все это чинили, исполняя приказы старших, те самые веселые и энергичные немецкие парни, которые чувствовали себя всюду так хорошо и непринужденно.

Яринка рвалась в Скальное, Новые Байраки или хотя бы Подлесное. У нее уже не хватало терпения жить в лесу, ей хотелось разузнать хоть что-нибудь из того, что происходит там, за синей стеной леса, на широких просторах. Хотелось, может, хоть что-то услыхать о Феде Кравчуке, Гале Очеретной, своих школьных подругах, навестить дедушку Нестора.

Однако о том, чтобы девушка отправилась сейчас в такую опасную дорогу, бабушка Агафья и слушать не хотела. И ее только в этом, пожалуй, твердо поддерживал отец... "Не маленькая, должна понимать сама", - был его единственный, но категорический аргу мент.

В те дни, разумеется только ради знакомства с Дмитром, их дом впервые навестил полицай Демид Каганец...

В это же приблизительно время в Подлесном назначили нового лесничего, бывшего бухгалтера этого же лесхоза Зизания Феофановича Лоптика, низенького, лысого, как колено, со сморщенным, как у старой бабы, лицом и маленьким, красным, как перец, носиком, на котором невесть как держалось старенькое, на черном шнурочке пенсне.

Отца сразу же вызвали к новому начальству.

Зная Зизания Феофановича, отец на всякий случай положил в плетенную из лозы корзинку рамку с нераспечатанными сотами, кусок прошлогоднего сала и десяток яиц. Позволил на этот раз пойти с ним в Подлесное и Яринке.

Подлесное Яринка просто не узнала. Тихое, словно прибитое к земле, с выжженной дотла главной улицей, загаженным, без окон и дверей, клубом, обгорелой, без крыши школой, оно показалось ей каким-то незнакомым, почти чужим.

Встретилась Яринка в Подлесном за те два-три часа, пока ждала отца, только с двумя знакомыми.

Когда отец зашел к лесничему, а она остановилась у крыльца с тремя цементными ступеньками небольшого, чудом уцелевшего среди пожарищ каменного домика, раздумывая, куда ей сначала податься и кого разыскивать, внимание ее сразу же привлек какой-то глухой гомон и шарканье многих ног по сухой, уже прихваченной первыми заморозками земле. Яринка вскинула

голову и посмотрела вдоль улицы.

По середине черной, дотла выжженной улицы двигалась серая толпа оборванных и понурых людей. Впереди молчаливой, словно на похоронах, колонны двигался похожий на цыгана немец с крючковатым носом, которого она увидела впервые у себя в лесу. А сбоку, с винтовками на ремне, перекинутом через шею, свисавшими поперек живота, бодро понукая и подгоняя, время от времени похлестывая людей по плечам и по головам длинными лозинками, двигались те же веселые, довольные и жизнью, и собой, и своим фюрером, бравые немецкие парни со стриженными под бокс головами и залихватски сбитыми набок пилотками.

Гнали куда-то советских людей, подлесненских жителей. Нет, пока еще не на расстрел, а так, для собственного удовольствия и какой-то не очень важной работы.

Людей уже так замордовали издевательствами, избиениями, ожиданием неизбежной смерти, что только от одного их вида сжималось сердце.

Яринка стояла, окаменев, не отрывая полных страха, гнева и сочувствия глаз от этого мрачного зрелища.

А мимо нее медленно проплывали серые, осунувшиеся лица с потухшими глазами. Все будто ошеломленные предчувствием неизбежного конца: дряхлые старики, сморщенные, сгорбленные годами и горем старухи, молодые женщины, молоденькие, с состарившимися лицами девушки и дети. Те, кто мог еще идти своими ногами, и те, которых матери и бабушки несли на руках, крепко прижимая к груди.

Печальным взглядом, со смешанным чувством жалости, гнева и какой-то неосознанной вины за то, что она бессильна помочь этим обездоленным людям, провожала Яринка этот трагический поход. Смотрела - и неожиданно вздрогнула, словно от электрического тока или ослепляющей молнии, встретившись взглядом с чьими-то в первый миг совсем неузнаваемыми и все-таки очень знакомыми, глазами. Взгляд темных, больших, грустных, встревоженных и все же красивых и в горе глаз вспыхнул лишь на одно мгновение. Но Ярпнке довольно было и этого. Она бросилась прямо в середину колонны на блеск тех печальных, а когда-то таких оживленных и веселых глаз.

- Розочка! Слышишь, Роза!..

Но, отброшенная назад хорошо рассчитанным, резким ударом приклада в грудь, тяжело осела на острые комья подмороженной дороги.

От боли у нее перехватило дыхание, она так и сидела какое-то время на краю разбитой подводами и машинами колеи, тяжело

и жадно дыша, как рыба на суше.

А серая, трагическая колонна, словно тень на экране серого неба, проходила мимо нее, тяжело и глухо шаркая подошвами.

Что-то выкрикивали и хохотали на всю улицу бравые немецкие парни с винтовками, а она сидела, все еще не в силах ни подняться, ни оторвать глаз от согнувшейся фигуры бывшей школьной подруги.

Ссутуленные плечи Розы время от времени вздрагивали. Она, вероятно, не замечала вокруг себя ничего, опустив непокрытую, с длинной черной косой голову.

А когда-то... Невысокая, полненькая и розовощекая,

с толстой косой, вишневыми пухлыми губами и большими темными глазами такими красивыми, что на них, бывало, не насмотришься, - была Роза живая, веселая, звонкоголосая.

Они сидели за одной партой с первого по четвертый класс, каждый день вместе возвращались из школы, читали одни и те же книжки, делились своими детскими тайнами и долго еще сохраняли приязнь и взаимную симпатию, хотя учиться в старших классах Яринку отправили в Скальное, а Роза подалась в ближайшую и чем-то ей более удобную школу в Терногородке.

Могло ли тогда хотя бы присниться, могли ли они хотя бы подумать о том, что выпало им в жизни сейчас, о такой встрече? И о такой своей беспомощности и бессилии!..

О, каким невыносимо унизительным, каким мучительно болезненным было это чувство бессилия! Яринка всегда, сколько помнит себя, стыдилась этого чувства. Оно вызывало в ней внутренний протест, презрение, ярость.

Против всего и всех, против самой себя... Быть беспомощной?! Отдаться во власть этому гадкому чувству бессилия?! Опустить руки?.. Нет! Сто, тысячу раз - нет!

"Никогда не буду уважать себя, если... если так и не смогу помочь тебе, Роза!.. Если позволю еще хоть раз тем извергам безнаказанно толкать себя прикладом в грудь!..

Ни за что!"

Стыд и ярость, круто закипая в груди, хмельной волной били в голову, и она уже верила, уже словно знала это твердо: "Никогда и ни за что!" Хотя даже и приблизительно не могла представить себе, как будет жить и действовать дальше. Еще даже и не догадывалась о том, что уже вскоре совсем просто и естественно для себя не только встанет в ряды бойцов, но и (уже совсем в других условиях) встретится с подругой и на самом деле поможет ей, Розе, вырваться из когтей смерти и присоединиться к народным мстителям.

Но будет это еще не сегодня и не завтра...

А тем временем v Ярпнки, бессильной именно в эту минуту чем-то помочь подруге, сразу же отпало желание гдтп еще кгда-то и с кем-либо встречаться.

Подавив боль и жгучую обиду, девушка наконец поднялась и тихо, медленно пошла назад к лесничеству, желая только одного: встретить огца и возвратиться домой.

Но вместо отца так же случайно, нежданно встретилась с Бойко.

То, что на пустой, выжженной улице, с обуглившимися стволами акаций и кленов, встретился ей густобровый, высокий и худощавый учитель младших классов Иван Бойко, не удивило девушку. Удивило и насторожило другое. Он комсомолец, ненамного и старше Ярипки - сразу же рассказал, что бросил Терногородку, возвратился в родное село и устроился там писарем у сельского старосты. Говорил об этом так буднично и спокойно, как будто это было для ыего, комсомольца, обычным делом.

Словно в мире ничего не случилось и все идет, как и тогда, до войны. После того, что увидала она за несколько минут перед тем, легкость, с какой Бойко говорил о своей работе, возмутила девушку. А Бойко, не дав ей и подумать, сразу же огорошил иным: очень просто, словно жили они в обычное время и вокруг не было ни концлагерей, ни гитлеровцев, ни расстрелов и объявлений о смертной казни за малейшие нарушения приказов и распоряжений немецкой власти, сказал:

- Кстати, послушай, Яринка! У нас здесь, понимаешь, скрывается один тяжело раненный командир. Но полной безопасности в Подлесном гарантировать ему мы не можем. Ты не смогла бы взять его в лес на какое-то время?..

- А передвигаться самостоятельно он может? - вмиг забыв о своем BOSMvujeHnn и безоговорочно поверив Бойко, спросила Яринка.

- Нет, не может... Но мы подвезли бы его к вам на подводе. Скажем, хоть и сегодня где-то к полуночи... Всего на несколько дней, а там - есть надежда, что переправим его в безопасное место.

Яринка немного подумала, прикинула и потом, не расспрашивая, кто это "мы", спросила:

- А вас ночью по дороге не накроют?

- Ну, знаешь... - откровенно признался Бойко. - В такое время гарантировать это полностью... Сама понимаешь! Но волков бояться - в лес не ходить. И потом, все возможные случайности мы уже учли.

- Тогда... Значит, тогда, - вслух рассуждала Яринка, - сделайте лучше всего так: привезете его не прямо к нам. Мало ли что может случиться. Хата лесника всегда может вызвать подозрение. Да никто и не поручится, что за нами уже не следят.

Потому что один такой раненый, скажем, племянник, у нас уже есть... А в такое время довольно им знать и об одном. Так вот... После двенадцати я буду ждать вас г)зле колодца, в Калиновом овраге. Только знай: не выйду и не отзовусь, пока не буду уверена, что с ним обязательно будешь ты сам. Ведь я никого не знаю...

- Ну и где же мы его спрячем?

- А это уже не твоя забота.

- А отец? Твой отец как ко всему этому?..

- С отцом я уж как-нибудь сама...

Они разошлись, точно условившись о ночной встрече, даже и не подумав хоть о какой-то тени недоверия друг к другу.

Отца Яринке пришлось ждать довольно долго. Часа два, не меньше.

От Зизания Феофановича Лоптика уже с самого утра несло остреньким душком бессмертного при любой власти первака. В конторе переминались с ноги на ногу какие-то подозрительные люди: клянчили старых досок с разбитого мостика, древесины на что-то там сгоревшее и горбылей, кем-то якобы забытых на лесном валу.

Зизаний Феофанович сидел за столом, икая, блестел стеклышками пенсне, корча из себя какого-то большого начальника.

Калиновского встретил холодно, приказал подождать, не пригласил и сесть. Только заметив в руках лесника непустую корзинку, смилостивился:

- Мы здесь, знаете, о вас думали-гадали, - намекнул он на свою принадлежность к высоким немецким сферам. - Да вы, прошу, присядьте. Времени у меня в обрез, сами понимаете... Но я уже успел-таки замолвить о вас словечко. Решено временно оставить вас на прежней должности. Да вы садитесь, садитесь, чего там! - Скосил глаза на корзину, которую Калиновский подсунул ему под стол, и совсем подобрел. - Старательность вашу и глаз хозяйский я давно приметил. Только теперь не те времена... Одним словом, это вам не при большевиках, сами должны понимать. Все теперь немецкое. И мы, извините, немецкие, и за каждое там поленце... Одним словом, по головке не погладят. Если только, хе-хе-хе, та голова уцелеет... Это я вам так, как старому знакомому.

А потом наши паны освободители скажут вам, что и зачем, яснее. Живете в лесу, так и...

Провожая Калиновского до дверей и окончательно уже подобрев, прибавил:

- Не исключена, знаете, возможность, что вас в ближайшее

время могут навестить и пан шеф Петр Петрович Седун с комендантом герром Брунсом, а то и сам начальник жандармского поста герр Мюллер с паном Калитовским... Спиридон Тимофеевич, как вам, наверное, уже известно, у нас теперь начальник полиции и порядок, хе-хе, знает... Так вы уж там, если что, то и...

Зизаний Феофанович рукой, плечом, прищуренным глазом и словно всей своей фигурой так красноречиво пояснил невысказанную мысль, что не понять его мог бы только человек, который за всю свою жизнь не только не выпил и чарки, но и никогда ничего не слыхал о водке или иных подобных вещах.

Калиновскнй вышел, не ответив на эту тираду ни одним словом. Корзина так и осталась под столом у Зизания Феофановича.

Появляться с чем-то подобным к высшему начальству, куда его также вызывали, отец уже не отважился. Шел, как в преисподнюю, хотя внешне не проявлял ни своего страха, ни волнения. Спокойно слушал то, что ему приказывали, и молчал, за все время, кажется, и головой па кивнул.

Правда, молодой и вертлявый фельдфебель Брунс, которому очень хотелось стать офицером и очень не хотелось идти на фронт, составил себе о нем не очень высокое мнение. И не только о Яринкином отце, но и о всех этих украинских туземцах. Крайсландвирт, или, проще говоря, сельскохозяйственный комендант оккупированного района, который ему отныне надо будет со всей энергией освобождать от хлеба, сала, мяса и многих других нужных великой Германии вещей, почему-то подумал, глядя на Калиновского, что осуществлять свою миссию с такими неповоротливыми и диковатыми людьми будет, наверное, не так уж и легко.

Он для вида похвалил Калиновского за то, что тот обнаружил "глубокое понимание и уразумел высокую для себя честь трудиться для великого рейха", пояснив, что рейху и его армии требуется много леса, что главное теперь для туземного населения "арбайтен, арбайтен и еще раз арбайтен", и с тем милостиво отпустил.

Заинтересовался отцом и шеф жандармского поста Мюллер. Старый эсэсовский волк, хотя, вероятно, и в невысоком чине, принимал лесника в присутствии начальника полиции Калитовского. Насквозь пронизывая человека острым взглядом оловянно-серых глаз, жандарм работой и службой Калиновского совсем не интересовался и говорил ясно, четко, кратко, словно рубил каждое слово.

Он, Каликовский, живет в лесу и должен об этом помнить

постоянно.

Первейшая его обязанность - обо всем, что может случиться в лесу опасного для рейха, должен немедленно ставить в известность его или пана Калитсвского. О каждом человеке, независимо от того, кто он и откуда, он должен немедленно сообщать им, перед тем, по возможности, задержав подозрительного.

За нарушение каждого из этих приказов - смерть.

За помощь едой, одеждой, укрывательство советских пленных - смерть.

Точно так же за помощь всем другим, до евреев включительно, - смерть.

Смерть, смерть и смерть...

Мюллер говорил, не повышая голоса и не сводя глаз с Калиновского.

А Калитовский молчал, не осмеливаясь в присутствии высокого начальства вставить что-то и свое. Лишь после каждого слова утвердительно кивал маленькой, на тоненькой шее, сплющенной в висках, какой-то птичьей, с желтым лицом головой.

На последний вопрос: все ли он осознал и понимает ли то, что от них ничего не скроешь, отец, впервые за все три визита, утвердительно кивнул головой.

Домой из Подлесного они возвращались уже после полудня. Тихо угасал осенний день, догорая над далекими лесами узенькой бледно-желтой полосой вечерней зари.

За селом их встретили пустые осенние поля.

Молча, энергично шагали вдоль твердой с выбоинами дороги, перебираясь из оврага в овраг и с холма на холм, Километра за три от Подлесного потянулись разлогие балочки, поросшие черными кустами терна, боярышника и шиповника.

Каждый углубился в свои мысли... Отец тогда так ничего и не рассказал ни о своем повторном назначении на лесничество, ни о тех неприятных встречах и угрозах, ни о строгих предупреждениях. Вероятно, не хотел лишний раз тревожить дочку. Ведь она и без того хорошо понимала, что и к чему и в какие обстоятельства они попали.

Молчала, до времени не рассказывая о своих встречах, и Яринка.

Только когда миновали прошлогоднюю вырубку и пошли по узенькой утоптанной стежке, петлявшей между безлистыми уже кустами орешника, - дочь впереди, а отец за ней, - Яринка вдруг, совсем просто, как о чем-то обыкновенном, сказала:

- Знаете, тату, нам необходимо укрыть ненадолго одного

раненого командира.

Отец, казалось, совсем не удивился, даже шагу не убавил, ступая вдоль стежки по-прежнему размеренно и широко. Над лесом нависла необычная, безветренная осенняя тишина. Из низин, из глубоких оврагов тянуло сыростью, запахом прелой листвы и горечью прибиюй морозцем вербы.

Лишь через некоторое время отец спросил:

- А где он сейчас?

- Сейчас? Не знаю, - ответила Яринка. - Его привезут на подводе сегодня в полночь к кринице в яр. Туда, знаете, за калиновые кусты... Я пообещала, что там буду ждать.

- А люди? - снова спросил отец.

- Свои... Надежные, - поспешила успокоить Яринка. - Тут ничего такого опасного...

Снова какое-то время шли молча, так, словно уже все решено раз и навсегда.

Когда вышли из орешника, отец спросил еще раз:

- Раненный тяжело? Не знаешь?

- Не знаю, - ответила Яринка. - Надо, наверное, так понимать, что первую помощь ему уже оказали и он не совсем беспомощный...

За орешником на обе стороны раскрывалась широкая поляна, лишь кое-где поросшая кустиками терна, сухой мальвы и волчьей ягоды. По низенькой зеленой отаве изредка разбросаны копенки сухого сена. Далее, па фоне бледной зари и низко нависших серых туч, резко белели стволы осокорей вокруг их усадьбы. А между стволами, из-за кустов черемухи и сирени, теплым, желтоватым светом горело торцовое окно. Наверное, Дмитро и бабушка Агафья ждали их и беспокоились...

На пороге, взявшись рукой за щеколду, отец наказал:

- Приготовишь белый кожух, возьмешь в сарае валенки и незаметно вынесешь под грушу. Буханка и кусок сала тоже не поменяет. Если не тяжелый, перебудет какнибудь ночь в сене, за Островом... А до криницы пойдем вместе...

Так, с этих слов, в тот тихни осенний вечер и началась в одинокой лесной хате Корнея Калиновского внешге спокойная и непонятная для других, но до крайности напряженная и опасная - ежедневно и ежечасно между жизнью и смертью - двойная жизнь...

А между тем Яринка еще долго ждала, ждала с нетерпением, изо дня в день, из недели в неделю, обещанной вести от Феди Кравчука.

Но никакой вести так и не приходило. А до Скального было около сорока километров глухой в то время дороги.

И район-то был чужой, ничем теперь с Подлесным не связанный. И отец, как только мог, отговаривал, оттягивал, да??с запрещал ей думать о таких теперь далеких и небезопасных путешествиях одной.

Яринка рвалась в Скальное, не терпелось ей ветретиться с друзьями, услыхать что-то новое и подбадривающее, может, найти какое-то свое место в том незаметном пока глухом сопротивлении, которое, чувствовала, нарастало где-то неподалеку от нее, ощущалось даже в воздухе. Думалось: может, она им, тем, кого она представляла тогда не очень ясно, именно сейчас до крайности нужна, даже необходима, а какие-то там сложные к непреоборимые обстоятельства мешают людям разыскать ее и позвать? И может, может быть, какой ужас! - боятся довериться?.. Тогда... Тогда она должна, непременно должна доказать им, убедить!

В те дни еще жив был дедушка Нестор. Дедушка, который был для нее самым родным после отца... А не видела она дедушку Нестора уже более двух месяцев! Как он там без нее, старенький и одинокий?! Нет, что бы там ни было! Пусть в ней нуждаются и Дмитро, и Бойко с приемником, и тот командир, а не может она дальше сидеть вот так в лесу!.. Да и недолго она там пробудет.

Принесет дедушке каких-нибудь гостинцев из дома, уберет в хате, постирает белье, наколет дровец, увидится, с кем сможет, узнает, о чем посчастливится узнать, да и назад.

И вот настал наконец тот день.

Из Подлесного в Скальное на базар, который впервые разрешили оккупанты, должна была отправиться старенькая полуторка лесничества. Пассажиров, правда, набралось втрое больше, чем она могла вместить, но все же нашлось место и для Яринки.

Взволнованная, рада-радешенька, сидит Яринка прямо в кабинке рядом с заросшим темной щетиной, одетым в черный, засаленный ватник шофером Хливко. Едет, подскакивая на избитом - одни скрученные проволоки да рваный дерматин - сиденье. Чуть не стукается головой о твердую жестяную крышу грузовика, когда ее подбрасывает на комьях и подмерзших выбоинах степной дороги. Едет, заранее радуясь встрече с дедушкой, а может, и Галей Очеретной, Леней Забродой, а то и самим Кравчуком. Едет, время от времени посматривая на Свприда Хливко, усмехается, глядя на его нарочито запущенную щетину и боязливую настороженность всякий раз, как только заметит где-то впереди немецкое авто или полицая с белой повязкой.

Сама же Яринка страха перед немцами совсем не чувствует.

Не думает об этом, не смогла бы, пожалуй, и объяснить почему, но и вправду не чувствует. А люди, взявшие себе за правило маскироваться перед врагом, даже без видимой причины выдавая себя за престарелых, глуповатых и более неловких, чем они есть на самом деле, всегда вызывали у нее презрение. И каждый раз, когда она встречалась с таким, это раздражало девушку, даже вызывало в ней чувство обиды.

Нет, она без особой, острой нужды ни за глупую, ни за бедную или неопрятную выдавать себя не будет и, главное, не хочет. Она обладает чувством собственного достоинства и гордости за своих людей. Это и не позволяет ей подтверждать хоть чем-то, хоть в мелочах, глуповатые представления ослепленно-ограниченных гитлеровских "юберменшей" о нас как о "степных славянских дикарях". Наоборот, где только представляется удобный случай, Яринка подчеркивает их ограниченность, неосведомленность и темноту даже в делах собственной немецкой истории и культуры, показывает их зазнавшимися невеждами. И разговаривала с ними, если уж не могла от зтсго уйти, смело, дерзко, иногда даже рискованно, и, как это ни удивительно, они, сами не сознавая того, относились к девушке почти всегда с уважением.

Яринка и одеться любила к лицу, может, и ярко, но не крикливо. Чем-то особенным, говорили девчата, какойто подтянутостью, стройностью и даже тем, что всякая одежда была ей к лицу, выделялась она среди других. И теперь ни своего поведения, ни одежды менять не собиралась. Была как всегда...

Так вот, отправляясь впервые за время оккупации в Скальное, уступила обстоятельствам разве лишь в том, что сменила красный берет на синий.

От мамы осталась Яринке шубка. Коротенькая, хорошо сшитая из темной цигейки, ни разу до этого не ношенная. Вообще мама купила ее "по случаю" и на вырост для дочки, а не для себя. И шубка именно и ждала того времени, когда Яринка подрастет и закончит десятилетку...

Этого мама не дождалась. А шубка из цигейки, новенькая и нетронутая, так и лежала в ее сундуке.

И только теперь, собираясь в Скальное, Яринка впервые решила надеть мамину шубку, чтобы потом никогда больше ее не снимать. Тем болег что и Дмитро сразу похвалил шубку, сказал, что она ей к лицу и вообще как на нее сшита. И значок с силуэтом детской головки, купленный когда-то после смерти мамы, надежно скрылся от постороннего глаза в ее густом ворсе.

Итак, мамина шубка, синий беретик, аккуратные сапожки на подковках, независимая, даже гордая осанка в сочетании с двумя-

тремя сквозь зубы процеженными фразами по-немецки просто-таки гипнотизировали немецких патрулей, два или три раза останавливавших их на окраине Подлесного и Скального...

Дедушка Нестор, совсем уже белый - он сильно постарел за это короткое время, - увидев внучку, так расчувствовался, что даже всплакнул, не стыдясь и не вытирая слез.

А первый знакомый, которого Яр инка встретила ка улице возле базара, Радиобог. Леня Заброда удивился:

чего это она так вырядилась?

Удивился и сразу, едва успев поздороваться, приказал:

- Не оглядывайся... Иди вслед за мной к школе...

Буду ждать возле липы...

Сказал так, словно они договорились заранее, словно он специально ждал ее здесь.

Яринка знала Леню давно, не раз встречала на разных собраниях и субботниках, на весеннем спортивном празднике и военизированном комсомольском походе прошлым летом. Запомнила даже то, что все военизированное он любил особенно, а в августе, когда они вместе рыли за Казачьей балкой противотанковый роз, носился даже с каким-то пистолетом...

Заинтересованная и даже несколько заинтригованная Лениной таинственностью, Яринка сразу и охотно подчинялась его приказу: немедля пошла следом к школе, прежде всего подумав о том, что и так не выходило у нее из головы: "А что, если он от Феди?.. От Кравчука?.."

И, к сожалению, почти угадала.

Старую, покореженную, дуплистую липу на меже школьной усадьбы хорошо знало не одно поколение скальновских учеников.

Остановившись в кустах сирени, за широким, в лишаях и наростах, стволом под низко нависшими ветвями, Леня сразу спросил:

- Ты откуда?

- Из дома. Из Подлесного, - ответила Яринка.

- У тебя какое-то дело?

- Да... Думала здесь кое-кого встретить...

- А как там у вас?.. Тихо или понемногу шевелятся?

- Бывает тихо, а бывает, что и шевелятся...

Леня усмехнулся. Усмехнулся скупо, свысока и даже сурово, всячески стараясь подчеркнуть свою солидность, и оттого сразу стал прежним Леней Забродой, почти мальчиком.

- Мало, пожалуй, шевелятся, - сказал он строго и осуждающе. - Надо бы веселее... А наши новости слыхала?

- Где бы я могла их слышать?

- Гад Дуська Фойгель подстерег у Казачьей балки Федю

Кравчука... Насмерть, одной пулей. Из засады...

Он теперь полицай и переводчик у жандармского шефа.

Такая собака, что и не подумал бы. Расстреливает собственноручно по ночам... Сотнями, словно и родился фашистом... Ты остерегайся... Не попадайся лучше на глаза. Слыхал, будто вспоминал тебя... Интересовался, куда исчезла...

На мгновение в глазах у Яринки потемнело. Даже слегка пошатнулась и, чтобы не заметил этого Леня, прикоснулась плечом к липе... Закрыла глаза, потом встряхнула головой. Нет, Дуська ее не удивил. Тот Дуська, подбитая им птица и... еще кое-что, о чем знала только она одна... Но Кравчук... Чубатый, длинношеий Федя Кравчук, на которого она возлагала столько надежд и от которого с таким нетерпением ждала весточки... Из-за той весточки она даже в немецком языке начала практиковаться... А тут...

- А тут у нас по-всякому, - верно не заметив ее состояния, продолжал далее Леня. - Возвратился Максим.

Может, слыхала, Карпа Зализного, машиниста, сын. Был студентом в политехническом, а теперь здесь, в местечке, держит мастерскую. Кустарь-одиночка. Примуса, ведра, зажигалки и часы ремонтирует... А Очеретная Галина, так та, знаешь, вернулась на работу в типографию...

Теперь, разумеется, в немецкую.

- В немецкую?.. Галя Очеретная?..

К какому-то там Максиму Зализкому она отнеслась совсем безразлично. Слыхала лишь, что учился когда-то в их школе и что даже Ленине прозвище Радиобог - как-то связано было с ним. Но в школе Яринка такого уже не застала... А вот - Галя Очеретная!..

Та Галя, с которой они дружили, с которой стояли, прижавшись друг к другу, в первый день войны на площади возле репродуктора, учились на санитарных курсах... И еще там, на мостике... Они стояли рядом, и Галя сказала: "Не знаю, ничего я сейчас не знаю..." Вот тебе и "не знаю". Нет Феди Кравчука. Убит. И убил его, значит, Дуська Фойгель... Полицай Дуська Фойгель... А Галя Очеретная не просто там где-то, а в немецкой типографии!.. Вот, выходит, что делается!

После этого Яринка уже ничего и слушать не хотела.

Оторвать плечо от жесткого ствола и уйти... Уйги все равно куда, просто куда ноги понесут... И она так и пошла бы, если бы не остановил ее спокойный голос Лени.

- Вот так-то оно... - сказал он не по возрасту рассудительно, словно раздумывая вслух. - Никто этого не ждал, не гадал... Тут еще теперь лагерь пленных. Окруженцев немало... Трое - на Курьих Лапках. С Сенькой Горецким дружат. Хлопцы бравые. Если

что... А вообще, хотя фронт бог знает где, у нас уже понемногу шевелятся.

И просто, с наивной детской неосторожностью, не предупредив, не подготовив, вытащил из-за пазухи небольшую пачку сложенных вдвое листков и, оглянувшись вокруг, протянул Яринке:

- Возьми почитай... Можешь показать или передать там у себя, кому доверяешь. Только лучше так: из рук в руки.

Что это, Яринка не спрашивала. Почему-то сразу поняла и так. Восприняла как долгожданный сигнал от мертвого уже Феди Кравчука... Даже обрадовалась.

И была бы сейчас совсем довольна, если бы...

Если бы не тяжелая весть о смерти Кравчука и если бы не то болезненное чувство досады от непонятного, даже позорного поступка близкого человека, которому, выходит, уже и довериться опасно... если бы не Галя Очеретная...

Неожиданно, откуда ни возьмись, как назло, вышла она из-за угла, да и пошла Яринке навстречу. Шла, еле передвигая ноги, грустная, ни на что окружающее не обращая внимания и, наверное, ничего вокруг и не замечая...

Яринке бы кинуться куда-нибудь в сторону. Убежать и от тяжелых сомнений, и от бывшей подруги, и от неизбежного, связанного с лживыми объяснениями или натянутого, тоскливого и, может, ненужного обеим разговора.

Но деваться уже было некуда. Галя, подняв голову, заметила ее и, вся вдруг просияв, с радостным удивлением бросилась Яринке навстречу:

- Яринка! Ты?! Откуда?! Здравствуй!.. - И сразу же сникла под холодным Яринкиным взглядом.

Таким холодным, словно они были только едва, а то и совсем незнакомы.

- Как ты?.. Где? Живешь, работаешь? - лишь бы хоть что-то сказать, тихо бормотала Галя, остановившись и не осмеливаясь не то что поцеловать, а и руку протянуть.

А Яринка еще раз безжалостно смерила ее тем же взглядом.

- Работаю?.. А на кого, кому она теперь, эта работа?! - и, помолчав мгновение, так и не сдержалась, спросила или подтвердила осуждающе: - А ты, слыхала, в немецкой управе или типографии работаешь? - И сразу, обходя Галю, двинулась с места.

Сникшая, ошеломленная девушка что-то еще говорила, но Яринка ее уже не слушала.

- Бывай... Спешу... Боюсь машину прозевать... - Так и прошла мимо с тупой болью в груди, с отчужденно-холодным

выражением на лице.

А помрачневшая Галя не нашла, видно, в себе силы даже ответить ей. Так и стояла еще какое-то время посреди улицы, потупившись, опустив голову.

Домой возвращалась Яринка молчаливая, тихая, печально-сосредоточенная. Сидела в кабине, не промолвив за всю дорогу и слова. Думала о Кравчуке, его смерти, переживала тягостно-болезненную встречу с Галей Очеретной. Пыталась, да так и не сурдела объяснить себе ни Галиного, ни своего поведения, еще и еще раз возвращалась мысленно к той встрече, временами ругая себя за то, что думает о бывшей подруге как уже о мертвой, навсегда потерянной, и желая утешить себя хоть чем-то:

"Нет!.. Чего-чего, а такого со мной уж не случится! Не дождутся они, чтобы я на них работала! Нет, не дождутся!.."

Листовки отцу она в тот раз так и не показала. Не осмелилась или не сочла необходимым. Ведь в опустевшем, зимнем лесу пользы от них никакой.

Дмитро, которому она привезла десяток карандашей и несколько тетрадей, увидев листовку, едва не подскочил от радости. Размечтался, нарисовал целую картину, несомненно же героическую, где он - искалеченный - видел себя чуть ли не одним из основных участников подполья, которое обязательно будет действовать здесь, в этом районе. И ждать этого, наверное, уже совсем недолго!

А тот командир, которого также укрывали у них, - он потом куда-то исчез - рассматривал листовку заинтересованно, но без особого увлечения.

- Есть у нас смелые люди! - похвалил он. - С таким народом нас ничто не запугает. Но одними бумажками немецких танков не остановишь.

И этими словами как будто обидел Яринку.

Иван Бойко, с которым, после истории с этим командиром, Яринка делилась всеми тайнами, отнесся к Яринкиным скалыювским приключениям и новостям с сосредоточенной серьезностью. Вертя так и сяк, рассматривая со всех сторон те листовки, удивляясь и пытаясь разгадать, почему они хоть каким-то словом не подписаны, вслух думал:

- Это, девушка, что-то совсем новое... Что-то совсемсовсем новое... И, знаешь, может быть, наше, скорей всего, наше. А может, и чужое... Гестаповские волки - они, твари хитрые... Этот самый, как ты говоришь... Леня Заброда, он что, хороший хлопец?

- Свой, комсомолец!..

- Свои, бывает, и копей крадут, - усмехнулся БеЛко. - Но у нас пет оснований и не верить ему. Он на чтото или на кого-нибудь

не намекал? Ничего больше не оСещал?

- Намекать - не намекал... Прямо ничего не сказал.

А я, разумеется, не расспрашивала. Только сказал, чтобы я, если смогу, после Октябрьских наведалась...

Бойко снова принялся читать и рассматривать листовку:

- "Дорогие товарищи! Поздравляем вас с наступающим Октябрьским праздником! Бои в районах Ржева, Брянска, Можайска .." Так... "Блицкриг... остановлен окончательно и навсегда... Помогайте Красной Армии громить врага... Наше дело правое..." Так, так... Хлопец, видно, и в самом деле серьезный. Постарайся осторожно, чтобы случайно не влипнуть, выведать, и, если что, наладим связь... Может, там что-то более серьезное, тогда нам такая связь во как необходима! А если все такие, зеленая молодежь, то можем и мы помочь, порой предупредить, на верный путь направить. А то где же у таких юнцов, да еще в наших условиях, опыт возьмется. А дело большое. Серьезное дело. Так что считай, Яринка, имеешь настоящее поручение, а не забаву...

Ничего определенного не сказал ей Леня Заброда, лишь намекнул на новую встречу. Ничего, что хоть както вязалось бы с тем давним разговором с глазу на глаз в райкоме комсомола с Кравчуком.

А все же живые, настоящие, напечатанные где-то тут (может, в самом Скальном) листовки, что давали пусть и скупые, пусть и невеселые, а все же какие-то сведения о фронте, затрагивая одновременно и здешние дела, призывая к борьбе с фашистами, были сейчас у нее в руках!

И передал их с полным доверием хлопец свой, комсомолец, которому она также не могла не верить... Итак, значит, что-то уже есть. Кто-то уже действовал. Действовал организованно, широко, а не просто от случая к случаю, как, скажем, она со своим отцом и Бойко.

Бойко Яринка также верила. Верила не только как своему, честному человеку. Нет!.. Верила и хотела верить, что он тоже не один, что кто-то стоит за ним. Выходит, кроме нескольких листовок, намека Лени Забооды, был еще прямой (она это так и восприняла) приказ Бойко.

Приказ, который она не только хотела, но и должна была выполнить.

Однако, как это и бывает в жизни чаще всего, не все сложилось так, как предполагали. Как раз в праздники почему-то самым удобным оказалось переправить кудато далее (что касалось Яринки, то только за десять километров, до Балабановки) какого-то знакомого Бойко хлопца, тоже чуть ли не

из окруженцев, и передать его из рук в руки совсем незнакомому Андриану Пивню.

И это именно там, в Балабановке, впервые услыхала Ярипка от Андриапа Пивпя, низенького, с веселым нравом, разговорчивого мужчины, о какой-то неизвестной до того "Молнии"; этим словом вскоре после праздников была подписана еще какая-то листовка с призывом бить гитлеровцев и срывать все их планы...

Из Балабановки попалась Яринке подвода до Подлесного. Проезжая через Подлесное, она делала, правда, небольшой крюк, но ехать - не идти. В Подлеском заночевала у старого знакомого, бывшего почтового бухгалтера Брайченко. От него снова услыхала о "Молнии". И о новой листовке. Хотя, правда, все это были только слухи.

Ведь ни Пивень, ни старик Брайченко самой листовки не видали. Просто долетело до них откуда-то загадочное и удобное слово - "Молния". Появилось именно после Октябрьских праздников, уже после того, как фашисты решили осуществить, как они говорили, "массовую акцию"...

Жуткую "акцию" по уничтожению огромного количества советских пленных, активистов, всего оставшегося на оккупированной территории еврейского населения. "Акция"

эта в уезде, собственно, и началась с Подлесного... Кровавое сумасшествие, в котором из двухсот с лишним людей еврейского гетто посчастливилось спастись, может быть, десятку, да и то, может, временно...

Брайченко скупо, явно страшась и избегая подробностей, рассказывал все, что слыхал и знал о той кровавой осенней ночи. А Яринка, слушая это, сразу же подумала о Розе, о своей встрече с ней, и об эсэсовском прикладе, боль от которого с внезапной остротой снова отозвалась в ее груди. Где она теперь, Роза?..

Уцелела?..

Брайченко хорошо знал Розу и ее родителей, но об их судьбе будто бы не знал ничего определенного.

Не сказал ей тогда правды Брайченко. Решил не признаваться. Что же здесь удивительного? И только спустя два года дозналась Яринка, что в тот вечер и в ту ночь, когда она ночевала у Брайченко, ее подруга Роза, уцелев случайно после той кровавой резни, скрывалась у них же в погребе. И Яринка тогда не могла прийти в себя, всю ночь не могла успокоиться. Забылась в тяжелом сне только под утро и вдруг проснулась от какого-то кошмара, который сквозь сон прорвался истошным криком, разбудив и напугав старых Брайченков.

Проснувшись, сразу же заторопилась домой. А в дороге

спешила так, будто за ней кто-то гнался или там, дома, ее ждало неизвестно какое смертельно-неотложное и срочное дело.

Идти было тяжело. День, выдался хмурый, дождливый. Тяжелые, свпнцово-серые тучи нависли над самой землей. Дорога раскисла, стала вязкой. А по ней время от времени навстречу девушке шли измученные голодом, издевательствами группы раненых пленных. Люди не люди, скорее скелеты, обтянутые серой кожей и в грязных лохмотьях.

Они еле переступали с ноги на ногу. А продрогшие, хотя и бойкие, немецкие солдаты с криками подгоняли их тумаками, а то и выстрелами, поспевая еще между делом бросить какую-то шутку в спину молоденькой туземной фрейлейн.

На дороге после тех игривых и молодцеватых немецких парней остаются трупы... Один... второй... А там даже двое рядом лежат, навзничь, погружаясь серыми плечами в вязкую, холодную родную землю.

Дома, переволновавшись за нее, безумно обрадовалась бабушка Агафья, радостно заискрились глаза у Дмитра, сдержанно усмехнулся отец.

- Как оно? - спросил он. - Все ли в порядке?..

- Да, если обо мне и о том товарище, то ничего. Ночевала у Брайченков. Там в Подлесной такой ужас, такое...

- Знаю, дочка...

- Ну, а вы как тут?

- А что с нами здесь случится? Так, как и всегда...

Тату, тату!.. Родной, родной татусь!.. Если бы не все пережитое за эти два года, она так никогда по-настоящему и не узнала бы, какой у нее славный... нет, не просто славный - необыкновенный, чудесный татусь!.. Такой молчаливый, рассудительный, всегда спокойный татусь!.. Человек, о котором говорят, что он и мухи не обидит. Он, наверное, в своей жизни ни с кем и не поссорился по-настоящему. Молчаливый и покладистый, лишь иногда бросал какое-нибудь скупое мягкое словцо, мог пересказать сложную историю одним коротеньким предложением да еще разве кротко, как-то смущенно улыбнуться, раскрыв в улыбке всего себя.

Ни слова не возразив, иной раз только переспросив, он молча делал все, о чем бы она ни просила его. И у нее складывалось впечатление, что все опасное, строго запрещенное, связанное с риском и страхом неминуемой смерти, он делал только для нее, только потому, что просила его об этом она - его единственная, любимая дочка, удивительно похожая на свою покойную магь.

Яринка попросила подольше, пока совсем не поправится, оставить у них того веселого художника Дмнтра.

И отец, положив что-то в новую из лозы корзинку, молча подался в Подлесное и как-то там узаконил хлопца как родного племянника.

Она подала мысль привести в порядок и припрятать найденное оружие, и отец тут же, беспрекословно, взялся за дело, только подумав перед тем, где лучше будет устроить тайник. Попросила помочь переправить еще и раненого командира - и он и не подумал отказать.

Тату! Татусь!.. Как ты горячо, до самозабвения, любил свою дочку! А она... А она так и не сумела спасти своего необыкновенного, своего самого дорогого татуся!..

Он ни в чем не отказывал ей, делал все, о чем бы она ни попросила... Хотя делал, вероятно, еще и потому, что у обоих у них лежала к тому душа, что он жил тем самым, что и она, и думал (не затрачивая на пояснение лишних слов) так и о том же, о чем думала, во что верила его Яринка.

Когда-то раньше, когда была еще жива мама и не было этой проклятой войны, Яринка, если бы ей сказали о выдержке и мужестве отца, вряд ли поверила бы в то, в чем убеждалась не раз и не два и убедилась теперь окончательно. Такой выдержки, такой смелости, да где там - настоящего героизма! - внешне непоказного и порой незаметного, она в отце прежде и допустить не могла!

Только теперь, во тьме этой нескончаемой ночи, когда у нее появилась возможность подумать, вспомнить все до подробностей, она наконец до конца осознала, поняла, какого отца имела, какой это был по-настоящему большой человек!.. Человек, которого она, возможно, именно в эту минуту теряет навсегда, навеки и больше никогда, никогда в жизни (подумать только!) не встретит, не увидит, не услышит!

Дотлевала осень с ранними морозцами. Приближалась зима. Леса в их краях - один этот клочок чуть ли не на всю область. А жизнь, несмотря ни на что, даже на войну, брала свое. Надо было, пока живешь, одному покрыть сожженную хату, другому возвести над землянкой крышу или хоть кое-как починить выбитые взрывом окна и двери. И печь, хоть раз в день не истопив, не проживешь. Да и учреждения немецкие прежде всего требовали леса на разбитые мостики и разрушенные помещения. Поэтому так много людей бывало ежедневно в лесу и у них на подворье. В хату частенько забегали погреться возницы, пареньки, молодицы. Бывали гости не только непрошеные, но и нежелательные. И никуда от них не денешься.

Все чаще наведывался полицай Демид Каганец. Сидел, курил, молчал. На Яринкины язвительные вопросы, как служится в

полиции, хорошо ли платят и какой чин дадут ему немцы за службу, отвечал неохотно и настороженно. Пытался расспрашивать Дмитра, скоро ли, по его мнению, немцы разобьют Советы? И Дмитро со всей возможной серьезностью уверял Каганца, вызывая у Яринки смех, что каждому полицаю, как только Гитлер победит, выдадут по трактору, по сто десятин земли, двадцать батраков и по четыре жены на нос. Но не здесь, а где-то там, в очень теплых краях, где земли слишком много, зимы совсем не бывает, а все люди черные и ходят голышом... Каганец верил и не верил. Все, кроме далеких краев и черных женщин, его более или менее устраивало.

Но кончится ли война хотя бы к весне?..

Этого уже Дмитро пообещать ему не мог.

Так и не выяснив до конца всего и на всякий случай спросив, будут ли, а если будут, то скоро ли, немцы делить колхозы, Каганец прощался, обходил вокруг подворье, заглядывал в свинарник, сарай и даже в колодец и, перебросив винтовку, как дубину, через плечо, не спеша шагал в Подлесное...

Молоденький вежливый крайсландвирт Брунс, заглянув вместе с Зизанием Феофановичем, был приятно удивлен лесной, как он выразился, "украинише Лореляй" и особенно тем, что смог хоть как-то объясниться с ней на немецком языке. От стакана самогона категорически отказался, яичницу поковырял вилкой с нескрываемым отвращением, расчетами Зизання (кому, как и сколько выдать леса) явно не интересовался. Охотно съел лишь несколько ложек меда, не отказался от живой курицы и с особым интересом рассматривал Яринкины книжки и учебники, обстоятельно расспрашивая обо всем, что было на рисунках, от общественных и революционных событий и до деятелей резолюции и советской державы включительно. Завидев случайно уцелевшую с первых дней войны и уже пожелтевшую газету с карикатурой на Гитлера, снисходительно, как на невинную детскую забаву, усмехнулся. Однако, подумав, посоветовал это лучше уничтожить.

Неожиданно, как это ему и подобало, налетел и сам шеф жандармского поста герр Мюллер в сопровождении начальника полиции Калитозского, Каганца и еще двух не известных Яринке полицаев.

Эти, хотя отец на всякий случай и пригласил, даже к столу не присели. Мюллер, пока полицаи торчали у порога, стоя опрокинул два стакана самогона, закусил куском сала без хлеба и тут же ринулся к дверям... Обнюхал и обшарил каждую щель в хате, амбаре, сарае, заглянул в овин, погреб, колодец, энергично пробежал по всему подворью и по дорожкам к лесу и, заявив, что

здесь следовало бы держать если не немецкий, то хотя бы полицейский пост, не прощаясь, вскочил в бричку, запряженную парой гладких гнедых коней. И тут еще раз переспросил, нет ли кого в лесу подозрительного, погрозил отцу единственной, которую обещал всем, смертной карой и только после этого приказал вознице-полицаю ехать.

И впервые по-кастоящему поразил Яринку своей смелостью и выдержкой ее отец именно в присутствии Мюллера. Прпчпмол зтому был раненый командир, которого они перепрять:зали, приняв о г учителя Бойко.

Мюллер заскочил к ним второй раз на склоне короткого декабрьского дня, когда на дворе уже начало смеркаться. Заскочил лишь с двумя полицаями, вероятно, был не из трусливых. В семье Калиновских в то время такого гостя совсем не ожидали. Дмитро, человек более или менее легальный, лежал в своем углу на топчане, а командир, который мог уже двигаться, слегка прихрамывая, сидел возле него. Они о чем-то говорили, надеясь на то, что в большой комнате всегда заметят чужого еще издалека.

Но Мюллер налетел как гром с ясного неба, совсем не с дороги, а из леса, и в хате поняли все, что случилось, лишь тогда, когда увидели на пороге хаты его кряжкстую фигуру.

Хорошо еще, что в то время в конце усадьбы, на вырубке балабановские возницы догружали два удлиненных воза несколькими кубометрами грабовых слег.

Яринка как раз возилась у печки: оглянувшись и поняв, что произошло, почувствовала, как перехватило у нее дыхание и кровь ударила в лицо.

А отец сразу же, словно ничего и не случилось, пригласил жандарма в комнату - погреться с дороги. Полицаи в хату не заходили. Торчали возле балабановских возниц, которые, закончив погрузку леса, ждали Калиновского, чтобы он проверил, отобрал или подписал ордера.

И вот именно в ту минуту, когда Мюллер, стоя и задрав голову, тянул, словно воду, из граненого стакана крепкий самогон, скрипнули двери и на пороге, ничего не зная, встал командир.

Встал да так и застыл на месте, увидев верзилу в белом кожухе, с гранатами на поясе.

Яринке, как она потом вспоминала, показалось, что командир даже слегка изменился с виду, лицо побледнело, а глаза сразу потемнели.

Жандарм пил не торопясь, в горле у него булькало, а все, кто был в хате, со страшным, нечеловеческим напряжением следили

за тем, как ходит под синеватой кожей на его шее острый кадык.

Мюллер сделал последний глоток, кашлянул, прочищая горло, и резко, словно ему кто подсказал или толкнул в сшшу, взглянул на дверь.

Мгновение они стояли друг против друга: жандарм в белом кожухе, подпоясанном широким ремнем, на котором висел пистолет и две гранаты с длинными ручками, и безоружный командир с заросшим темной кудрявой бородой лицом, в отцовой заячьей шапке, в его же черном, подвязанном веревкой стеганом ватнике, совсем новых, командирских, с кантами брюках и стоптанных валенках.

Решало одно мгновение, движение, взгляд, слово...

Но отец, ее отец (честное слово, никогда до этого Яринка его таким не видела) не допустил ни лишнего движения, ни взгляда, ни тем более слова.

Ни один из них не успел не то что среагировать, даже о чем-то яснее подумать, а отец грозно скосил глаза, стукнул кулаком по столу и со злостью хрипло закричал:

- Дадите ли вы мне наконец покой, черти бы вас побрали!

Жандарм перевел взгляд с командира на отца (кстати, он, наверное, так и не заметил, откуда командир вошел: из кухни или сеней?). Потом снова взглянул на командира. А тот на выкрик отца смущенно пожал плечами, извиняясь, отец же, не давая никому опомниться, продолжал шуметь, обращаясь прямо к жандарму:

- Верите, минуты свободной за весь день не имею!.. - И снова к командиру: - Вы что, не видите, что у меня господин комендант?! Горит у вас?! Земля под вами проваливается?!

- Так темнеет же... - в тон отцу отозвался наконец и командир. - А сейчас, сами знаете, как в потемках добираться...

- Черти вас не возьмут! Идите и ждите!.. Выйду сейчас, посмотрю, чтобы чего лишнего не увезли, подпишу ваши бумажки, да и с богом... Поедете вслед за паном комендантом, никто вас не тронет.

Чего-чего, а такой длинной речи от отца Яринка не ожидала и не могла ожидать.

Командир, в самом деле уже по-крестьянски, неуклюже повернулся к дверям и исчез в темном проеме сеней, плотно и старательно прикрыв за собой дверь.

Мюллер принял все, как говорят, за чистую монету, глотнул самогон, как собака муху на лету, и молча закусил соленым огурцом.

Яринка почувствовала, будто тяжелый груз свалился с ее плеч и вся она стала легкой как перышко, и ей сразу захотелось где-

нибудь прилечь - хоть и на полу, покрытом соломой, - и отдохнуть. Однако, гордая, прямо-таки восхищенная героическим поступком отца, преодолела эту невольную слабость, успокоилась.

...В один из вторников где-то уже в конце ноября старый Брайченко, побывав на базаре в Скальном, привез письмо от дедушки Нестора. Писал дедушка о своем житье-бытье, о том, как соскучился он по Яринке, просил, чтобы навестила при случае, а в конце приписал, что заходил к нему какой-то паренек, назвал себя Леней и просил передать Яринке, чтобы была, если сможет, у дедушки Нестора, в следующее воскресенье, он - тот парень зайдет к ней, так как дело есть...

Леня, бесспорно, мог быть лишь один - Заброда.

И без особой необходимости на такие приглашения он, безусловно, не решился бы...

Второй раз в Скальное Яринка ехала той же полуторкой из лесничества. Приехала к дедусю в субботу под вечер. Ждала Леню вечером, утром и весь следующий день. Ждала дома, не выходя из хаты, остерегаясь, прежде всего, ненужной встречи с Дуськой. Ждала, волнуясь, нетерпеливо и... не дождалась...

В полночь с воскресенья на понедельник на улице возле дедушкиного подворья послышался топот, потом выстрелы, а потом... потом Яринка подобрала в дедушкином малиннике и перенесла в хату смертельно раненного мальчика.

Необычной и страшной была та ночь.

Пустое, словно вымершее, темное село. Пустая улица.

Тускло освещенная, с тщательно занавешенными окнами комната. Яринка с дедушкой, казалось, были одни-одинешеньки среди этой глухой ночи, во всем огромном мире. Только где-то в темноте, в холодной пустоте замерших, притихших улиц полицаи и немцы.

А на лежанке подплывает кровью потерявший сознание, смертельно бледный мальчик. Чей-то тринадцатичетырнадцатилетний подстреленный сын. Неизвестно, почему, как и откуда появился он здесь, в глухую полночь.

Неизвестно, кто и за что преследовал его и вот - подстрелил. Вернее, кто - известно. Разумеется же, полицаи. Яринка даже заметила их темные фигуры, когда выглянула из окна, услышав необычный топот на улице.

Сначала мальчик был совсем как мертвый. Потом, когда его перевязали, отогрели и силой напоили малиновым чаем, застонал, что-то пробормотал, раскрыл бессмысленные, невидящие глаза и вдруг позвал какую-то Галю...

И как только он позвал Галю, Яринка сразу с удивлением и

болью, с непонятным раскаянием узнала в том мальчике Грицька Очеретного. Брата Гали Очеретной...

С которой ока... Той самой... ну, которая пошла работать в какую-то там немецкую типографию...

За пазухой у Грицька был пистолет "ТТ" с двумя обоймами, больше ничего.

В полное сознание он так и не пришел. Только, уже в жару и бреду, слабым голосом, болезненно-настойчиво звал и звал сестру Галю. Да еще повторил несколько раз слова о каком-то "мыле", спрятанном в Стояновой кринице на Казачьей балке, и о каких-то "гвоздях", зацепленных за третью сзаю возле Волчьей плотины.

На рассвете Грицько Очеретный умер.

Под утро впервые в том году в этих местах выпал глубокий снег. А днем распространились слухи об облаве, начатой немцами еще вчера и продолжающейся сегодня уже по снегу. Вечером все выяснилось: убили какогото неизвестного Яринке окруженца, какую-то глухую старушку на Курьих Лапках, арестовали Леню Заброду, Сеньку Горецкого, калеку студента Максима Зализного, двух молодых окруженцев и... Галю Очеретную.

Тяжело, тоскливо стало на душе у Ярпнки. И от всего этого, и от того отвратительного подозрения, с каким ока сстретила и которым, наверное, горько оскорбила Галю...

Воспоминание о той обиде жгло Яринку запоздалым бессильным раскаянием не один день и не один месяц.

Отозвалось в сердце глухой, ноющей болью и теперь, в концлагере.

Смерть Грицька, его непонятные слова, сказанные в бреду, так поразили Ярннку, так растравили ее совесть, что еще долго, даже во сне, приходили к ней, не забывались, да, наверное, уже и до конца жизни не забудутся.

"Мыло", "гвозди", Волчья плотина и Казачья балка...

Почему мальчик повторял именно эти, только эти слова?

Случайность? Тогда почему же именно эта случайность?..

К тому же и Казачью балку и Волчью плотину Яринка знала не хуже Калиновой криницы или вспаханного оврагами Острова у себя в лесу...

Оставшись в Скальном еще на какое-то время (к большой радости дедуся), Яринка под вечер с осторожностью прошла вдоль Черной Бережанки до Волчьей плотины.

Увидела размытые камни поперек замерзшей уже речки, остатки каменного фундамента бывшей мельницы и, к великому своему удивлению, возле фундамента, на незамерзающем стрежне лотоков, - три толстые, низко, над самой водой

срезанные сваи, одна за другой торчавшие над бурлящим и пенистым водоворотом.

"Интересно, какую же из них Грицько считал первой, а какую третьей?" подумала Яринка, похолодев от неожиданности и уже твердо поверив, что неспроста говорил мальчик о "мыле", о "гвоздях", что за теми словами должно что-то скрываться.

Постояла, наблюдая, как кипит на быстрине в пенящейся полынье темная вода. Потрогала носком сапога хрупкую, как стекло, ледяную кромку. Попыталась выйти по льду на середину речки. Лед держался крепко, не ломаясь и не прогибаясь. Если лечь на него и подползти до того незамерзшего озерца, то можно было бы дотя-, нуться вон туда, до той крайней сваи.

"Гвозди", если они существовали не только в предсмертном бреду Грицька Очеретного, должны быть гдето на дне, как-то там зацеплены за одну из свай.

Яринка вышла на берег, постояла у каменного фундамента, потом еще у куста черного ивняка. И только потом тихо пошла вдоль стежки, кем-то уже слегка протоптанной в глубоком снегу.

Темнело. Небо и нетронутые чистые полотнища снегов сливались в какой-то нежной, невыразимой красоты синеве. На межах, в огородах чернели терновые кусты, краснел тальник, гнулся под снегом сизый верболоз.

Вверху, за полоской вишенника, одиноко темнела хата Очеретных. Немая, с черными бельмами окон пустующая хата. Зайти бы, расспросить у кого-нибудь из родственников или соседей, ведь там же должна быть Галина мать с ребенком... Зайти и... нарваться на засаду. Яринка тяжело вздохнула и, медленно передвигая сразу отяжелевшие ноги, пошла дальше вдоль берега.

И вот, вместо того, чтобы встретиться с Забродой, выполнить задание Бойко и, возможно, связать в одну две действующие цепочки, она почувствовала полный и, если говорить прямо, опасный обрыв, концы которого ей сейчас, наверное, уже не найти. После всего, что случилось, не только небезопасно, но и неразумно было бы по горячим следам что-то разыскивать или кого-то о чем-то расспрашивать.

Остался один-единственный, почти фантасмагорический след, скрытый в словах-видениях Грицька Очеретного. Почему-то ведь он бежал от полицаев?! С пистолетом, в комендантский час, во время внезапной облавы и арестов очутился даже на их конце села! Нет, за всем этим должно что-то скрываться!..

Утром дедушка Нестор пошел к старосте, рассказал о той, не такой уж и удивительной по тому времени, трагической истории. Староста на всякий случай послал к ним полицая, но особого

значения случившемуся не придал.

Составили кое-как протокол, осмотрели труп, допросили для проформы свидетелей и разрешили Грицька Очеретного (о смерти которого и ее причинах в Скальном, наверное, никто и не догадывался, кроме двух-трех дедушкиных соседей) тихо и спокойно похоронить.

Дедушка Нестор сам и гроб смастерил из сосновых, приготовленных на свою смерть досок. Семен Печеный - конюх из "общественного хозяйства" - запряг в сани гнедого коня, отвез убитого на кладбище и зарыл в неглубокой, промерзлой могиле.

Яринка, в предчувствии чего-то опасного и очень важного, что она могла и должна была выяснить, проводила Грицька только через свою улицу до моста. Едва дождавшись сумерек, взяла из-под стрехи железную дедушкину клюку и подалась к Волчьей плотине.

Место это было глухое, по-своему даже таинственное, в неглубокой балке, за селом. Плотина размыта, мельница разрушена давно, еще в начале коллективизации. Последние уцелевшие вербы вокруг вырублены этой осенью.

Вряд ли кому-нибудь, да к тому же вечером, пришло бы в голову без особенно срочной необходимости прогуливаться здесь.

Однако лишняя осторожность никогда не мешает. От стены каменного фундамента и почти до проруби девушка проползла, не поднимая головы. Далее, уже по льду, подползла к проруби и, уже почти не веря, что найдет здесь что-нибудь, а больше для очистки совести, поболтала клюкой возле первой сваи, потом переползла к другой, средней, и так просто, только чтобы измерить глубину (течение быстрое, бурлит, но не глубоко, всего какой-нибудь метр, а то и мельче), поболтала и возле нее... Возле третьей, крайней, уже потеряв всякую надежду, не очень и старательно поводила острым концом клюки и с первого же раза зацепила за что-то тяжелое...

Ее сразу бросило в жар. Держа клюку в воде, Яринка повернула голову и огляделась. Вокруг было пусто и тихо. Над селом, над речкой нависла густая, серая вечерняя мгла. Лишь вода в проруби нежно и звонко клокотала да в конце плотины, в осоке, коротко и громко стрельнула льдина. Яринка вздрогнула и немного подождала. Убедившись, что клюка зацепилась крепко, потянула к себе.

Черный, довольно большой сверток, который она осторожно вытащила на льдину, оказался набитой чем-то тяжелым сумкой от обычного противогаза.

Даже и не подумав поискать клюкой еще раз (может, там что-то другое есть), стала пятиться к берегу.

Дома, пока дедушка уснет, бросила находку в малиннике и прикрыла снегом...

...Слова Грицька были не просто бредом. В мешке оказались: набранная и подготовленная к печати листовка, начинающаяся словами: "Свободные советские люди! Помогайте Красной Армии уничтожать фашистскую погань!..", два резиновых валика для краски и печати, кусок шинельного сукна, несколько килограммов типографского шрифта насыпом и бутылочка с типографской краской.

Текст старательно уложенной в деревянный ящичек листовки заканчивался четкой, вырезанной на дощечке подписью - "Молния".

Выходит, не просто работала в немецкой типографии ее подруга Галя! (И как это она тогда не догадалась?!)

Так вот о каких "гвоздях" шептал в горячке сухими, смертельно-бледными губами маленький Грицько!

Могла ли теперь Яриика сомневаться, что и под словом "мыло", о котором тоже говорил Грицько, скрывается что-то таинственное и важное?

Однако разыскивать таинственное "мыло" по своему собственному усмотрению Яринка не отважилась. Не было у нее на это ни времени, ни возможности. Да и после тех печальных событий, убийств и арестов в Скальном, ей угрожала опасность на каждом шагу. Достаточно было случайной встречи с Дуськой Фойгелем.

Собираясь через несколько дней домой, мешок с "гвоздями" Яринка, несмотря на опасность, захватила с собой.

Прощаясь с дедушкой Нестором, пообещала, что расстается ненадолго, и попросила до ее возвращения осторожно разведать все, что только удастся, о семье Очеретных.

Мешок от противогаза со сеем, что в нем было, вскоре передала Бойко.

Бойко пересмотрел при ней все его немудрое содержимое, сокрушенно покачал головой:

- Та-ак, Яринка... Вот, значит, и узнали мы, что такое "Молния"... Только очень поздно!.. - И, немного помолчав, добавил: - Ну что ж, теперь как раз время побеспокоить и Ступу. А то засиделся человек без дела, как бы не закис...

Кто такой Ступа, Яринка тогда еще не знала. И фамилию эту услыхала впервые, даже и не предполагала, что именно встреча со Ступой крепко и навсегда свяжет ее с большим подпольем.

По приказу Бойко Яринка должна была разыскать этого Ступу и, передав пароль от какого-то "Сорок четвертого", строго конспиративно рассказать все, что знает о "гвоздях", о Казачьей

балке, Стояновой кринице и "мыле".

Жил Ступа, оказывается, в том же Скальном, работал то ли агрономом, то ли зоотехником в земельном отделе немецкой районной управы.

Отправилась Яринка в Скальное с этим приказом только в конце января сорок второго года.

Ступу разыскала рано утром дома.

Высокий, полнеющий уже мужчина в валенках и новеньком сером кителе встретил Яринку настороженно, даже недовольно и долго не хотел ничему верить. Никакого пароля он не знает и знать не хочет, ни о каких "Сорок четвертых" и подавно не слыхал. А если ее кто-то подослал, то должен откровенно сказать: было бы значительно лучше, если бы такая молоденькая девушка подыскала себе более пристойное и полезное занятие.

Немного успокоившись, долго и придирчиво выспрашивал, кто она и откуда. Так долго и нудно, что Яринка в конце концов разозлилась и начала доказывать, что с ней все яснее ясного: прибыла от "Сорок четвертого"

(хотя того и в глаза не видета), а сама является, можег, гражданин Ступа слыхал (она так и сказала - "гражданки"), родной дочерью терногородского помещика, дворянина Калиновского, собственника нескольких тысяч десятин земель и лесов в окружающих районах.

Только после этого Ступа наконец усмехнулся. Даже спросил, не голодна ли она. Предложил Яринке хлеба с салом, не побеспокоившись, однако, узнать, где же девушка устроится на ночь, и начал осторожно выспрашивать о Казачьей балке, о Стояновой кринице, о фантастическом "мыле"...

Позднее слыхала - Ступа сделал все, как было приказано, но Яринке тогда он совсем ке понравился. И не потому, что держал себя уж очень осторожно, - в такое время иначе и нельзя, - а чем-то нудным и ненужным, каким-то отталкивающим высокомерием, будто только он один все знает и все может.

Жизнь свела ее со Ступой еще два раза: в апреле, когда Бойко послал ее в Скальное к тому же Ступе, а Ступа - в областной город на связь с Золотаренко, и осенью прошлого года, когда их троих - Яринку, Ступу и Бойко - полиция ?ахватила на Солонецком хуторе.

В апреле Ступа встретил ее так же прохладно, с обычным выражением превосходства на обрюзгшем, хотя и граспвом лице и снова очень ей не понравился. Осенью "г.е, когда она тащчла его на сгбе, раненного в ногу, через какие-то кусты, заросли ежевики, сырую трясину, он оказался человеком с выдержкой и даже храбрым...

День и следующую ночь после первой встречи со Ступой Яринка провела у дедушки Нестора. Не показываясь на подворье, наводила порядок в немудреном дедушкином хозяйстве, расспрашивала о скатыюзскпх новостях, уговаривала дедушку бросить Скальное и пребраться хоть на зиму к ним в лес.

Новости в Скальном были теперь, как и всюду, невеселые. В лес перебираться дедушка ни за что не хотел:

и не любил леса, и жаль было бросать на произвол судьбы хату растаскают, а он здесь родился, прожил свой век, тут уж, если что, и умрет... А о том пареньке, которого они похоронили, и об Очеретных он не забыл, разведал. Отец - тракторист, ушел еще весной в армию, и след его простыл. Мальчика тогда убили полицаи, старшую сестру - ходят такие слухи - арестовали и вывезли как будто в Германию, а мать, оказывается, еще в июле сорок первого, когда немец бомбил станцию, погибла при бомбежке. Осталась одна-единственная сиротка, всего четыре годика, и зовут ее Надийкой. Живет у бездетной соседки, Мотри Головачихи...

"Матушки мои! - услыхав это, сжалась от боли Яринка. - Еще и мать!.. Это же тогда, когда я Галю вот так, ни за что оскорбила. И что только мне в голову ударило?! Выходит, у нее уже и матери не было! А я!.."

Гнев на себя, раскаяние, боль и беспомощность, полная невозможность хоть чем-то исправить положение, загладить свою вину терзали девушку целую ночь, не давали уснуть.

Встала на рассвете, словно после болезни, вся разбитая.

А тут еще и дедушка!

Поднялся вслед за внучкой, обул латаные валенки, надел белый кожушок, повязался поверх заячьей шапки платком, взял в руки грушевую палку и сказал - пойдет провожать Яринку, и все тут!

Бледный, высохший, даже светится от старости. А на улице мороз, метет пронизывающая поземка. Идти надо до самой МТС, чуть ли не через все село. Яринка просит, отговаривает его от этого, обещает, что скоро, совсем скоро приедет. А он уперся: пойду провожать, и конец. И сам чуть не плачет...

Плетется за ней, против ветра, скользя по мерзлому снегу, с трудом передвигает ноги, дрожит весь, от ветра слезы замерзают сосульками, а он все же идет.

Едва упросила, чтобы хоть у моста отстал. Дальше пошла одна по намерзшей брусчатке и все оглядывалась, а он стоял, прислонившись спиной к телеграфному столбу, опираясь на палку. Такой одинокий и заброшенный в опустевшей мертво-заснеженной улице. Пошатывался па ветру и не отрываясь

смотрел вслед уходящей внучке.

А Яринка, время от времени оглядываясь и досадуя на самое себя и на него, даже и не подумала тогда, что видит дедушку Нестора в последний раз.

В феврале они втроем - Яринка, Бойко и Дмитро - отпечатали с набора, найденного на дне Черной Бережанки, несколько сот листовок, подписанных словом "Молния", принимая, таким образом, не только дела, но и само название скальновской подпольной группы.

Половину листовок Яринка отнесла в Терногородку и из рук в руки передала Роману Шульге - пожилому уже мужчине, механику Терногородской МТС. Другие распространил Бойко через своих связных в нескольких соседних районах, от Новых Байраков и до Скального.

В том же месяце, как-то в воскресенье, возвращаясь из Новых Байраков в Подлесное, забрел к ним в лес полицай Демид Каганец. Где-то по дороге совсем случайно попала ему в руки другая, не их, значительно большая листовка, тоже с подписью "Молния". Перед тем как сдать ее в полицию, Каганец решил зачем-то показать ее в хате Калиновских.

В той листовке рассказывалось о событиях, связанных еще с Октябрьскими праздниками. Держать ее в руках было и радостно и страшно. Точно это был далекий выстрел и в то же время привет от пропавших без вести скальновских товарищей. Это была листовка, которую, бесспорно, держала в своих руках Галя Очеретная.

Даже в ту суровую зиму о них не забыли. Изредка их навещали районные фюреры и почти ежедневно - Демид Каганец. Кроме него, наверное по воле жандармского начальства, не забывали тихое лесное жилище и другие полицаи. Иной раз просиживали молча, щелкая семечки, иногда, будто из сочувствия, спрашивали у Дмитра о здоровье, интересовались тем, кто он и откуда. А он, издеваясь, все повторял с небольшими изменениями и дополнениями одну и ту же историю: он внебрачный сын великого князя Кирилла и купеческой дочки из Петербурга; отец его вряд ли и догадывался о существовании сына, а мать так быстро махнула за границу с каким-то офицером, что даже родного сына забыла прихватить.

И пришлось ему, Дмитрию Кирилловичу - можно сказать, человеку царской крови - пробавляться среди беспризорных, воспитываться в детдоме и немного поучиться еще в среднем художественном училище.

Полицаи верили и не верили. Дмитро умел, когда был в настроении, так вдохновенно плести небылицы, что и не верить

ему было трудно и поверить нелегко. Потомуто полицаи лишь посмеивались и переглядывались между собой; посидев и послушав, возвращались в Подлесное, чтобы вскоре неожиданно появиться снова.

Дмитро медленно, с трудом, но все же поправлялся.

Выздоравливал с печальной уверенностью, что останется калекой на всю жизнь. Но духом не падал, шутил с нарочитой (а может, и действительно искренней) беззаботностью:

- Художнику, кроме головы, довольно и одной руки.

По крайней мере, никто не упрекнет, что рисую левой ногой.

За всю осень и зиму они пережили только одну большую, по-настоящему большую радость: разгром немцев под Москвой, весть о котором дошла до них со значительным запозданием.

В конце февраля Дмптро качал уже подниматься и Л л же ходить по хате от кровати к окну. Изо дня в день эти его "прогулки" становились все чаще и продолжительнее.

Потом они нашли для себп более интересную и более полезную работу. Яринка приносила из Подлесного, от Бойко, целые охапки всяких гитлеровских угроз, приказов и предупреждений туземному населению о сдаче продуктов и одежды, расстрелах за хранение оружия и укрытие "подозрительных элементов". А он на тех печатных, большей частью с одной стороны, листках рисовал едкие карикатуры на Гитлера, его генералов и вообще фашистов. Делал Дмитро зто, по мнению Ярикки, просто блестяще. Ценил его мастерство и Бойко. Ценил и, желая повысить "тиражи" подобных документов, посоветовал Дмитру сделать два-три "наиболее подходящих к современному моменту" клише из дерева пли линолеума.

А когда начал сходить снег, наступила и более тяжелая работа: разыскивали, развозили и раздавали людям, присланным от Шульги, Ступы или Бойко, по соответствующему приказу или паролю оружие, которое Яринка с отцом собрали и хранили в лесу еще с лета.

А потом, в разгаре самых больших надежд и ожидании, ранней весной, посыпались на нее, одно за другим, страшные несчастья. Несчастья эти и закалили Ярпикину волю, научили ни одним движением, ни одной черточкой лица не выдавать своих настоящих чувств.

Самым страшным во всем было то, что главным виновником тех несчастий Яринка считала себя. Себя и никого больше. Она успокоилась, не подумала в свое время... А если и думала, то утешала себя: кому, мол, нужен калека в военное время и кто там может им интересоваться.

Оказалось, были такие, что рассуждали иначе.

И Дмитро тоже... Правда, что с него и возьмешь, с его беззаботностью и постоянными шутками?!

А можно ведь было спрятать и... мало ли что!.. Имея такие связи и возможности.

Даже в тот мартовский день, когда они из окна заметили Каганца, можно было еще многое успеть. Приучил уже их этот Каганец к себе. А когда вслед за ним, в какие-то две-три минуты, из-за кустов черемухи неожиданно ворвались в хату еще два полицая, думать о чем-либо было уже поздно.

Ничего не объясняя, насупившийся Каганец официально велел Дмитру немедленно собираться в дорогу. Немного смягчила, правда, полицейскую твердость бутылка самогона, поставленная Калиновским, рассчитывавшим оттянуть, а может, и выиграть время.

Пока полицаи распивали поллитровку, Ярпнка кое-как собрала Дмитра в неведомый путь.

Уже на пороге, когда выходили из хаты, сразу погрустневший, как-то по-детски нахмурив лицо, Дмитро поблагодарил всех домашних, а Яринке сказал тихо-тихо:

- Спасибо тебе, Яринка, за все-все... Что бы со мной там ни случилось, а я, пока жив буду, тебя никогда не забуду...

- Р! я, - почти шепотом ответила побелевшими губами девушка, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать.

Это, наверное, и было их признание.

Бабушка Агафья возле печки кончиком фартука вытирала слезы, отец молча протянул руку Дмитру и сразу же отвернулся к окну. А Дмитро рывком отворил дверь, перешагнул через порог и больше не оглянулся...

Как и многих других окруженцез, выловленных в мартовской облаве, Дмитра бросили в Терногородский концлагерь.

И Яринка, вместе с терногородской группой Романа Шульги, принявшей к тому времени название "Молния", немедленно начала готовить побег. Она постоянно, почти раз в неделю, навещала Терногородку, носила Дмитру передачи и наказы от Шульги и Бойко. Но с побегом с самого начала как-то не получалось, осуществление операции страшно затянулось, и Дмитро замучили фашисты.

Трагедия произошла уже после того, как скальновская группа раздобыла из Стояновой криницы таинственное "мыло", оказавшееся несколькими ящиками тола. Его вполне хватило для того, чтобы взорвать на воздух восстановленный немцами к весне Скальновский сахарный завод. Скальновская группа (которая также приняла название "Молния") казнила скальновского начальника жандармского поста Шроппа, а потом и начальника

полиции Туза.

После этой нашумевшей акции (из той группы Яринка знала одного Ступу) гитлеровцы дотла сожгли село Петриковку, перестреляли чуть ли не половину его населения и вообще пытались запугать страшным террором всю округу.

Именно тогда в Скальном вместо казненного Туза гитлеровцы назначили начальником полиции Дуську Фойгеля.

И именно в один из тех дней, в апреле, сразу после встречи с Дмитром, к ней в лес пробрался кряжистый, приземистый Роман Шульга. Был он в каком-то дождевике, забрызганных, с высокими голенищами сапогах и кожаной фуражке. В хату он не зашел, вызвал Яринку во двор и, нахмурив круглое, безбровое лицо с обветренными, кирпичного цвета щеками, коротко и решительно приказал: надо идти в Подлесное на связь с Иваном Бойко.

Твердо веря в то, что речь идет об освобождении Дмитра, Яринка отправилась в дорогу в тот же день, убежденная, что появится возле Терногородского концлагеря и увидится с Дмитром, как и обещала, через три дня, в пятницу. Даже и тогда, когда Бойко приказал ей сразу же отправиться в Скальное к Ступе, девушка, торопясь, увязая в клейкой грязи степной дороги, была уверена, что на свидание с Дмитром она все-таки успеет.

Хмурый и неразговорчивый Ступа ошеломил ее еще Солее неожиданным и категорическим приказом немедленно пробиваться к городу К. на связь теперь уже с совершенно неизвестным ей багажным кассиром, каким-то Ннкифором Калиннкковичем Золотаренко.

До города было сто двадцать километров. Ступа дал ей для отдыха одну ночь, но встречаться с дедушкой Нестором запретил. Переночевала Яринка у Ступы, а на рассвете отправилась в дорогу.

Добиралась туда три дня. В одном месте ее подвез километров тридцать какой-то парнишка, возвращавшийся на пароконной подводе из Балабановки. А назад - уже прямо до Терногородки - она шла четыре дня.

Багажный кассир Золотаренко (как она поняла уже значительно позже) был уполномоченным или даже членом подпольного областного комитета партии. При первой встрече он знакомился с девушкой, расспрашивал о ее жизни, учебе, родственниках, хоть, видно было, многое уже знал о ней и до этого. На следующий день, перебросившись с Яринкой несколькими фразами по-немецки, сообщил о том, как она должна жить и что делать в дальнейшем. И, заручившись ее твердым согласием, приказал порвать все связи с другими товарищами или группами "Молнии" и выполнять приказы только

его или того, кто будет действовать от его имени.

"А как же теперь будет с Дмитром, с его побегом и освобождением?" тоскливо подумала Яринка, всматриваясь погрустневшими глазами дольше, чем следовало, в лицо сухощавого, уже немолодого, но энергичного Золотаренко. Но только подумала, а высказать эту мысль вслух почему-то не осмелилась. И все дни после разговора с Золотаренко, пока была в городе, и потом, пока добиралась до Терногородки, ее мучили тревожные и недобрые предчувствия, какая-то не до конца осознанная тревога.

И когда она под вечер на четвертый день, утомленная тяжелой дорогой, вязкой, как смола, грязью, голодная, разбитая и до предела взвинченная, оказалась наконец на окраине Терногородки, ее охватило такое сильное волнение, такой страх, что она уже не в состоянии была ни успокоить, ни сдержать себя. Словно заранее знала: случилось что-то ужасное. Волнение и страх вызвали неожиданный прилив энергии, силы, которая неизвестно откуда взялась в измученном, до крайности переутомленном теле, и по улицам Терногородки девушка уже бежала. Бежала, и чем ближе был концлагерь, тем острее ощущала тревогу, почти невыносимыми становились волнения и страх, которые жили, казалось, не только в ней, но и вокруг нее, читались на лице каждого встречного, распространяясь всюду, пропитывали даже воздух.

Вот так, почти теряя рассудок от нечеловеческого напряжения, промчалась она через всю длинную улицу и упала грудью прямо на колючую проволоку ограды концлагеря.

Не видела, не замечала ничего вокруг себя, кроме фигуры человека с мертво повисшей на грудь чубатой головой возле высокого столба посреди пустого лагерного двора. Не видела лица человека, словно застывшего у столба, не могла сразу узнать его издали, но каким-то глубоким, внутренним чутьем в первый же миг поняла:

это он, Дмитро!

Упала грудью на колючую проволоку, ударилась, будто слепая, о стену и исступленно вскрикнула:

- Дмитро-о! Дмн-тро-о!..

Никто не отозвался на этот болезненный, отчаянный крик. А тот, кто сидел там посреди пустого двора, прислоненный спиной к столбу, даже не шевельнулся...

Всего каких-то двенадцать дней прошло с тех пор, когда она видела его сильным, оживленным, исполненным надежд. Протягивая к ней руки через проволоку, неотрывно смотрел ей в глаза, сверкая белыми зубами, и, слегка запинаясь, просил:

- Самое главное, чтобы ты скорее пришла!.. Скорее приходи!.. Слышишь, Яринка?! Ведь я тебя так буду ждать!.. Так буду ждать!

А теперь... Нет, недаром преследовали ее зловещие предчувствия. За то время, пока она была в городе, здесь произошло что-то невероятное, страшное. Страшное и невероятное даже для гитлеровского концлагеря... Что именно - Яринка тогда так до конца и не поняла. Знала лишь пли, скорее, догадывалась: за то, что не захотел унизиться, не захотел рисовать их шелудивого Гитлера, плюнув своим палачам в лицо какой-то убийственно-издевательской карикатурой на обоготворенного ими фюрера. Обрубив пальцы на рухах, пытали эсэсовцы ее пылкого, ее гордого Дмитра. Однако мучило ее тогда, жгло только одно, canoe главное: жив или уже мертв тот неподвижно застывший человек с темно-красными марлевыми культями вместо рук? Тех умных горячих рук, которые умели создавать такую красоту... Такое, чего не умел и не сумеет, кажется, никогда никто другой.

Весь ужас и непоправимость того, что произошло, Яр инка осознала позже, когда могла более ясно воспринять и необычную пустоту лагерного двора, обнесенного тремя рядами колючей проволоки (всех пленных загнали за третью ограду и наглухо закрыли в ободранном длинном коровнике), и то, что на сколоченной из толстых горбылей вышке дежурили у пулемета три немца, и то, что несколько солдат с автоматами и собаками на поводках беспокойно толпились возле ворот лагеря.

Целых два года прошло с того времени. Но сейчас, здесь, Яринка припоминает и видит все так четко, как не могла видеть и чувствовать даже тогда... И обвислую, неподвижную фигуру у столба, и прядь русого чуба, который, спадая ему на лоб, закрыл лицо. И немцев: троих на вышке и тех возле ворот.

Они что-то кричали ей, предостерегающее и угрожающее. Кажется, даже стреляли из автоматов, только - она так и не понимает почему - не попали. Потом напустили на нее овчарку. И овчарка - снова непонятно почему - не бросилась на Яринку. Подбежала, страшная, огромная, с красной раскрытой зубастой пастью, обнюхала ее и как-то растерянно, будто пристыженная, вернулась к своим хозяевам.

Потом Яринку отрывали от проволоки, тянули через улицу по не просохшей еще грязи, толкали, даже били чем-то тяжелым по плечам и по голове. А она упиралась, вырывалась и снова бросалась на проволоку с отчаянным криком:

- Дми-и-итро!.. Дми-и-итро!..

И долго не могла успокоиться. Кричала она весь тот вечер и почти всю ночь. Всю ту жуткую ночь, когда узнала, что, свершив

отчаянный подвиг, написав на фанерном щите собственной кровью "Смерть фашистам!", замученный, погиб ее Дмитро - молодой и веселый художник.

Той ночи, пока жива будет, ей не забыть. Теплой апрельской ночи, в темноте которой незаметно расцвели в Терногородке вишневые сады...

Тогда ей исполнилось только семнадцать...

С того дня прошло всего два года...

И теперь, когда Яринка закроет глаза и вспомнит ту ночь, увидит себя возле лагерной ограды, ей даже не верится, что это была она, что все это произошло именно с ней. Нет... Кажется, будто это случилось десятки лет тому назад, неизвестно в каком далеком прошлом, будто была не она, Яринка Калиновская, а совсем другая, слабенькая, совсем пришибленная и растерянная девочка.

Такая растерянная и подавленная, что теперь и вспомнить стыдно.

Правда, неужели после той ночи прошло всего лишь два года?! И неужели же это она, та самая Яринка, что только вчера стояла рядом с немецким жандармом Бухманом на крыльце районной управы новобайракской полиции?.. Стояла, с глубоко затаенным ужасом видя, как полицаи и жандармы волокут из кузова грузовой машины ее окровавленного и потерявшего сознание отца. Ее родного, дорогого отца... Жандармы сбросили его на землю, затем потащили по ступенькам на крыльцо и скрылись за дверьми управы... А она стояла с застывшим, словно окаменелым, лицом, и ни одна черточка не дрогнула на нем.

Немецкому жандарму и в голову не пришло, что окровавленный, потерявший сознание человек, которого тащили по ступенькам крыльца на новые пытки, ее родной отец...

Наверное, и подсознательно не почувствовал, какой невыносимо жгучей ненавистью кипит все существо этой внешне невозмутимой, каменно-спокойной девушки с непроницаемым лицом.

В тот далекий вечер и в ту ночь, когда в Терногородке расцвели вишневые сады, она еще не умела, не могла, не в силах была скрывать свои мысли и чувства.

Большое чувство, так властно сдерживаемое прежде, сурово запрещенное ею себе, казалось, приглушенное в несчастье, перед угрозой неизбежной смерти Дмитра вспыхнуло, прорвалось с такой неимоверной силой, что она уже просто не могла думать о какой бы то ни было осторожности. Охваченная испепеляющим огнем любви, неодолимой боязнью за его жизнь, она совершенно утратила чувство страха перед врагом, окончательно потеряла

голову и, пожалуй, спаслась да и других спасла только чудом. Ее молодость, искренность и беззащитность, откровенное, почти бессознательное презрение к смерти, к которой она была тогда безразлична, спасли девушку от гибели, а может, и от чего-то худшего. Ведь она тогда многое знала, слыхала, в ее руках была уже и тайна "Молнии", и тайна Бойко и Ступы, а главное, тайна кассира Золотаренко.

Конечно, она жандармам ничего бы не сказала, никогда и ни за что! Не сказала, как бы ее там ни пытали, еще и потому, что смерть ей представлялась тогда какимто облегчением. А боль... Боли в том состоянии она, кажется, и не чувствовала... Помнит, что били, тянули от ограды. Она даже руки до крови исцарапала об эту колючую проволоку. Но боли, как ни напрягала память, не припоминает.

И только немного позже, когда она, придя в себя и переболев, уже дома пыталась спокойно все припомнить, ее неожиданно пронизывал неизведанный до того испуг...

Нет, не оттого, что она еще раз возобновила в памяти всю ту страшную картину... Прежде всего от мысли, теперь более глубоко осознанной, - как же это она могла так растеряться, так обо всем и о самой себе забыть? А главное, терзало до жгучего стыда - как же она будет жить дальше, такая?.. Как выполнит то, что так хотела, обещала и дала присягу выполнять?!. Как она сможет действовать- такая невыдержанная, такая беззащитная перед собственными чувствами? И тогда ночью, в отцовой лесной хате, за окнами которой шумели под весенним ветром высокие осокори, она сказала себе: либо ты пойдешь и скажешь, что ты не можешь, не умеешь, боишься, либо...

Пойти и сказать... От одной этой мысли ей становилось так невыносимо стыдно, так горько, обидно, что того, как это произойдет, она себе и представить не могла. Точно так же, как не могла ясно до конца додумать и другого "либо", которое так и осталось в сердце, нигде и никогда не было высказано вслух, потому что этого самого глубокого и дорогого высказать вслух Яринка не отваживалась, не могла, хорошо осознавая, что на свете есть что-то большее, более святое, чем самые лучшие слова, произнесенные вслух.

Разумеется, никуда она не пошла и никому ничего не сказала. Во-первых, потому, что не было такой необходимости. Ведь те, кому она хотела сказать о себе, сами все видели, понимали и сами, дождавшись удобного момента, предупредили и даже отчитали ее.

Что-то необычное - какой-то переполох в лагере военнопленных, суетня гитлеровского начальства, которое

обратилось внезапно к каким-то особым мерам с расстрелами и жестокими пытками, - не могло не привлечь внимания окружающего населения. И товарищи из подпольной группы Романа Шульги с самым пристальным вниманием следили за развитием тех непонятных, не выясненных до конца событий.

Кто-то из подпольщиков узнал возле проволоки Яринку. Видел, как рвалась она, слепо бросаясь на колючую ограду, к потерявшему сознание, искалеченному и привязанному к столбу посреди лагеря Дмитру.

Шульге доложили об этом уже совсем в темноте. А пока по его приказу добрались туда две незнакомые девушки, пэка насильно не затянули в чужую хату обезумевшую Калиновскую, было уже далеко за полночь. Кое-как успокоив, огородами и левадами увели ее подальше от лагеря. Яринка о тех часах мало что помнила.

Поздно вечером к ней пришел и сам Шульга. Убедившись, что девушка может воспринимать его слова, выругал, даже пригрозил чем-то и приказал немедленно возвращаться домой.

Проводил ее до самого леса, вероятно специально для этого вызванный, Бойко.

Шли они домой чуть ли не всю темную весеннюю ночь. И почти все время молчали.

Яринка, видно, взяла себя в руки и казалась уже собранной и бодрой.

Дома снова почувствовала слабость, утратила ощущение окружающего мира и власть над собой. Некоторое время жила как в тумане, в каком-то чаду. Потом говорили: был жар, бред. Она вскрикивала, скатываясь с кровати, порывалась куда-то бежать, звала Дмитра.

А после этого, дня через три, исхудавшая и измученная, не в силах ни думать, ни что-либо воспринимать, стала равнодушна ко всему. Просто лежала, приходила в себя.

А еще через некоторое время, когда совсем уже пошло на поправку, к ним из Подлесного зачем-то зашла знакомая женщина - Марина Зеленючка. Среди других, обычных и неинтересных для Яринки, разговоров сказала, что была зимой в Скальном и, показалось ей или и на самом деле, издалека, где-то возле еврейского гетто, видела подлесненскую знакомую Розу Савранскую.

Сказала, потом, поговорив еще о чем-то, ушла.

А Яринке было достаточно и этого, чтобы все началось сначала: весь ужас последних дней, событий, не до конца осознанных ранее опасностей, потерь, не утихающей боли и несуществующей вины. Прежде всего вспомнила, как ее выругал,

серьезно предупредив, Шульга. Значит, она совершила что-то почти непоправимое. А сможет ли она вообще приказывать своим чувствам? Ведь это не только слова Шульги, это знает и она сама: подпольщик не может, не имеет права теряться, проявлять свои мысли и чувства на глазах врага ни при каких, даже самых сложных и самых страшных, обстоятельствах.

А есть еще и другое, что она обязана была сделать и, гляди, теперь уж не сделает. Вот - Роза! Была - и, кто его знает, жива ли еще... Жила и исчезла. Убили...

умерла... пропала без вести. Так же, как Галя Очеретная.

Так же, как может исчезнуть, пропасть без вести и она - Яринка Калиповская. В любой день, в любую минуту. И тогда... погибнут вместе с ней, исчезнут во мраке неизвестности Галя, Леня, маленький Грицько Очеретный, совсем незнакомый ей Максим Зализный, вся короткая, как вспышка, история той первой "Молнии". А с ней - кто знает - может, не только их жизнь, смелость, борьба, но и -- что самое главное - добрая слава, даже честь их доброго имени. И может, не только их... Ведь вот могла она, даже она, Яринка, подумать о подруге бог знает что! А что тогда скажешь другим, тем, которые захотят просто так, из любопытства, спросить через несколько лет теперешнюю четырехлетнюю сиротку Надю?

Что им ответит Надя? Что ее сестра Галя пошла работать не куда-то, а именно в немецкую типографию, спасая свою жизнь?!

Отчаяние охватывало Яринку от одной этой мысли.

Хотя Шульга и приказал ей строго-настрого даже носа не показывать теперь в Терногородху и Скальное и вообще никуда не выходить без специального разрешения, однако... Однако есть вещи, которых нельзя не сделать.

Это твоя обязанность, веление твоей совести, чего ты не имеешь права забывать и от чего тебе не отрешиться, И если не исполнишь ее - она будет преследовать тебя, бередить твою неспокойную совесть, сколько бы ты ни жила...

Все равно Яринка должна как-то, хоть чуть-чуть, облегчить или сгладить свою страшную вину.

Не знает еще, что будет делать, как все сложится, не знает даже определенно зачем, но она должна побывать в Скальном и увидеть маленькую Надийку Очеретную.

Несмотря на запрет Шульги, даже нарушив его приказ.

Позже она так и сделала.

Ее вело в Скальное что-то непреоборимое, что-то властное, с чем справиться она была не в силах.

...Прежде всего Яринка решила забежать в Скальное всего на несколько минут по дороге, отправляясь на важное задание.

Решила, но... так и не отважилась. Не осмелилась нарушить прямой и ясный приказ. "На фронте такое наверняка сочли бы за измену", - подумала она.

В Скальное попала на обратном пути, уже выполнив задание.

Зашла к вечеру, со стороны Казачьей балки пробираясь огородами почти опустевших теперь зареченских Выселок, на соседний, рядом с усадьбой Очеретных, двор.

У порога старенькой хаты с зеленой от мха стрехой встретила ее пожилая, худенькая женщина. Встретила с настороженностью, но без страха, даже приветливо.

Услыхав, что незнакомая девушка интересуется Надийкой Очеретной, сразу же и призналась: да, ребенок живет теперь у нее. Но расспрашивать Яринку, кто она и откуда, не стала. Пригласила в хату. И только потом, приглашая к ужину, так, между прочим, незаметно, спросила, откуда и как знает Яринка Очеретных.

Приветливо, словно свою, встретила ее и маленькая Надийка. Полненькая, по-мальчишечьи подстриженная девочка сидела на полу, застеленном рядном, и играла кукурузными початками. Сразу потянулась к чужой девушке, пошла к ней на руки, защебетала, выпила из Яринкиных рук молоко, а когда подошло время ложиться спать, отошла от нее неохотно, спросив несколько раз, останется ли тетя у них и пойдут ли они завтра к речке за подснежниками.

Подснежники... Синие-синие веснянки на берегу и белые сладкие бриндуши на твердых, дерновых межах огородов. Придет ли такое время, когда она, щебетунья Надийка, никого уже не остерегаясь, будет собирать букеты голубых цветов, выгребать вместе со сладкими луковицами белые звездочки бриндуш? Да, когда-нибудь дети будут искать и собирать их. А она?

Яринка, попросив тетку Мотрю не зажигать огня, присела у окошка и маленькими, круглыми буквами написала коротенькое письмо Гале Очеретной, на тот случай, если она будет жива и возвратится домой. "Кто знает, думала, когда писала, - кому из нас выпадет счастье остаться в живых! А может, Галя выживет, придет, прочитает эту записочку, все поймет и... простит".

Написав, посидела молча, подумала и, перевернув клочок бумаги, прибавила на обороте несколько слов еще и маленькой Надийке, - она, прикрытая рядном, уже чмокала во сне губками и тоненько посвистывала носиком... Написала не к теперешней, а к будущей Надийке, которая когда-нибудь переживет все это и, уже взрослой, прочтя эти несколько слов, узнает о своих родных и о том, как они жили, думали о ней, ее будущем и, как могли, боролись за него...

Покончив с письмом, взяла патрон из Грицьковой обоймы, вывернула свинцовую пульку, высыпала порох и вместо него вложила туда, свернув тоненькой дудочкой, записку. И снова крепко закрыла пулькой. Потом засунула патрон в бутылку и ночью закопала ее под грушейдичком в конце огорода. На прощанье попросила тетку Мотрю запомнить то место, и, когда вернется домой Галя, сказать ей, чтобы откопала. Ну а если не вернется, то...

пусть когда-нибудь, потом, когда уже прогонят отсюда фашистов и когда уже она научится читать и понимать, что и к чему, пусть откопает это письмо Надийка... Или (мало ли что!) кто-то из наших, из тех первых, кто возвратятся освободителями в Скальное.

После катастрофы с Дмитром Ярпнкой овладела твердая, жгучая ненависть к гитлеровцам и постоянная жажда действия и мести. К жизни возвращалась она, словно после смертельного ранения.

Прошел год, почти целый год неутомимых странствий.

Словно челнок в основе, неторопливо, но и без устали, сьсвала и сновала она - маленькая, незаметная, сосредоточенно-настороженная и настороженно-колючая, казалось, даже веселая - из села в село и из района в район.

То с одним, то с другим встречаясь, ночуя у незнакомых людей, что-то передавая и рассказывая, иногда и такое, что было непонятным и ей самой, но, наверное, очень значительным и необходимым для общего дела.

И где-то уже без нее освобождали из концлагеря пленных, громили полицейские участки, расклеивали листовки, уничтожали лютых карателей. И уже никто, совсем-совсем никто, не появлялся больше в их лесном жилище.

И еще, уже значительно позже...

Тяжело ранили Ступу... Арестовали Бойко... Убили в стычке с жандармами в Балабановке Романа Шульгу...

Выследили и публично повесили на базарной площади в центре города, как "самого опасного из опаснейших преступников и врагов третьего рейха", багажного кассира Золотаренко...

А девушка, маленькая и энергичная, в синем или клетчатом платьице летом, в цигейковой шубке, за отворотом которой был приколот значок с силуэтом детской головки, зимой, иногда с тяжелым пистолетом Грицька Очеретного в боковом кармане, а иногда и без оружия, все ходит и ходит по своей земле. Бывает задумчивой и печальной, а на людях и веселой, и задорной. Иногда же, когда приходилось сталкиваться с немцами или полицаями, то и дерзко-задиристой.

Ходила, делая свое, как думалось самой, небольшое, хотя и нужное дело. И жаждала действий более значительных, не будничных, более героических, утешала себя и была даже горда тем, что так и не нарушила данного самой себе слова - ничего, буквально ничего не делать на пользу оккупантам. "И не буду делать, не буду работать с ними и на них ни при каких обстоятельствах", - повторила упрямо, так до конца и не представляя, что такое жизнь, что может она порой сделать с человеком.

Ходила новым, неуловимым Тилем Уленшпигелем, с застывшей, даже холодновато-загадочной улыбкой на губах, и пепел Дмитра, пепел всех расстрелянных, убитых, повешенных и замученных, пепел Клааса постоянно стучал в ее сердце.

И так до того рассветного часа, когда первой случайно увидела запутавшийся в ветвях дуба парашют и под ним

светловолосую девушку Настю. Наши в те дни выходили (или уже вышли) на линию Днепра в его нижнем течении и сбросили среди других и в этих местах небольшой разведывательный десант. И именно тогда жестокая действительность не посчиталась с ее хотя и твердым, но подетски наивным взглядом на жизнь.

...Нет, она недаром так любила своего отца! А с того времени любит еще больше. Она по-настоящему восхищается им, гордится, с удивлением не раз думала: как и откуда берется у него в самую опасную минуту спокойствие, выдержка и находчивость?..

Где-то Яринка читала, что Наполеон проявлял наибольшее спокойствие и выдержку в самые опасные минуты своей жизни, когда его судьба висела буквально на волоске. В такой обстановке он не только не волновался, а его даже клонило... клонило ко сну... Такое Яринка узнала о Наполеоне, но что-то не верилось ей, чтобы потянуло императора ко сну, если бы его вот так, как ее отца, не героя, не полководца и не императора, тот же Мюллер поставил возле хаты под бело-зеленый ствол осокоря и, криво усмехаясь, не думая шутить или запугивать, на всякий случай (Мюллер шутить не умел и слов на ветер никогда не бросал) сказал:

- Сейчас ты будешь видел... Сейчас ты будешь видел...

Яр инка стояла тут же, у торцового окна, в каких-то пяти шагах, опершись о стенку хаты.

Вечерело. За осокорями над лесом садилось большое красное солнце. Медвяно пахло кашкой, душицей и сухим сеном. Мюллер со взведенным парабеллумом в руке стоял как раз между ними. А вокруг полный двор настороженно прчгихших полицаев, немецких солдат и лютых, рычащих, бешеных, так и рвавшихся с поводков овчарок.

Утром в тот августовский день сорок третьего года Демид Каганец набрел на новенький советский парашют с наспех обрезанными стропами.

Парашют, раскрытый, непогашенный, повис, запутавшись на верхушке древнего дуба - ее, Яринкиного, старого любимца, который каждый раз встречал ее с ласковым шелестом на меже у ровного поля, когда бы - днем пли ночью - и из каких бы - близких или дальних - странствий она ни возвращалась к родной хате.

Прикрыв верхушку дуба, парашют белел на его темной зелени так четко, что его можно было заметить с поля или с дороги километра за два. Полицаи битый час снимали парашют с

дуба - так он сильно запутался. Собирались даже вызвать пожарную команду, но поблизости ее не оказалось.

Сгоняли полицаев, разных немецких служащих и солдат-пеших, конных и на машинах, с собаками и без собак, из нескольких районов - почти до обеда. Лес, по степным масштабам не такой и малый, окружили со всех сторон и прочесывали, двигаясь локоть к локтю, с десятками лютых волкодавов, почти до самого вечера. Каждой собаке дали перед тем обнюхать парашют, одежду и обувь всех жителей леса (отца, Яринки, бабушки Агафьи), но ни одна собака не напала хоть на чей-нибудь след.

Лютый, как и его овчарки, раздраженный неудачей, голодный как волк - от угощения у Калиновских на этот раз он наотрез отказался, - Мюллер вывел во двор отца и поставил его спиной к старому осокорю Яринке велел стать под стеной напротив отца и, размахивая парабеллумом, сказал:

- Советский парашютист - не иголка сена... И лесок этот - не брянский или полесский бор... Так вот что: ты или твоя дочка где-то здесь спрятали советский парашютист-диверсант. Где вы его спрятал?..

Яринка молчала, с тревогой и болью всматриваясь в спокойное, совершенно спокойное лицо отца. Он стоял я точно так же молча смотрел перед собой, не избегая взгляда Мюллера.

- Кто-то из вас двоих и где-то здесь, в вашем лесу, спрятал советский парашютист. И вы оба знаете, где он.

Точно так же, как и то, чем это угрожает вам. Если, разумеется, вы не сознаетесь.

- Лес, пане, большой. - К страшному удивлению Яринки, отец даже усмехнулся. - А я, хотя и лесничий, не обязан и, главное, не могу знать о каждом человеке, который может зайти в этот лес. Наконец, у меня не сто рук и не сто глаз.

- Зато у нас сто рук и сто глаз. Мы его найдем... Но наступает вечер, он за ночь успеет перепрятаться в другое место, и это усложнит дело. А мы уверены и убеждены, что спрятал его кто-то из вас двоих.

- Ну что ж. Если бы я даже и хотел, то - хотите - верьте, хотите - нет - сказать вам ничего не могу. И парашют тот увидел только тогда, когда его сняли с дуба.

- Хорошо, хорошо. - Мюллер зачем-то провел у себя перед носом парабеллумом.

Где-то в стороне затрещал мотоцикл. Зарычал здоровенный, серый с желтыми подпалинами пес. Яринка сразу ощутила, как к обычным лесным вечерним запахам примешался дух перегорелого бензина и псины.

Стояла и смотрела на отца: неотрывно, со страхом, широко раскрытыми глазами. Тяжело дышала через рот и с удивлением наблюдала совсем спокойное лицо отца...

Нюхом чует, догадывается тот жандарм или и в голову ему такое не приходит? - думала девушка, приготовившись к худшему и в то же время чувствуя, что, возможно, впервые в жизни она сейчас ничего-ничего, даже самой смерти, не боится. Ни жандармов, ни полицаев, ни солдат с лютыми псами. Как-то даже гордилась тем, что их вон как много, и они ничего не знают, и ничего у нее не выпытают. Только одно страшно - отец. Жалко ей было отца, такого спокойного и такого одинокого под зеленовато-белым стволом могучего осокоря. Ведь она знала то, чего и на самом деле никто не знал. Ни они, ни даже отец... Знала она не только то, что это был действительно советский парашютист, не только то, где он теперь спрятан так, что не найти его ни псу, ни жандарму, но и то, что тот парашютист совсем маленькая, светленькая, с рыжими веснушками у переносицы девушка. Ростом такая же, а может, даже и таких лет, как и Яринка. И Яринка никогда, ничего, ни за что и никому не скажет о ней, хотя бы ее здесь и на куски резали. И еще знает, что и отец бы не сказал. Она это знала твердо. Никогда бы не сказал, если бы даже и знал.

- Так это есть твой последний слово? - помолчав, переспрашивает отца Мюллер. - Хорошо, хорошо...

- Да. Ничего больше сказать вам, пане комендант, я не могу. И дочка моя тоже... Нечего, понимаете, нечего сказать.

- Та-ак... Хорошо... Тогда, раз ты не хочешь сказать правда солдатам фюрера и великий рейх... Тогда ты сейчас вот здесь будешь видел, как мои солдаты сначала изнасилуют твоя дочка, потом повесят вот на той ветка...

И все это ты должен смотрел. Сначала смотрел... А потом будешь висел на той ветка рядом.

Мюллер опустил парабеллум и начал закуривать папиросу. Яринка стояла, вся оцепенев, едва ощущая себя и все же опасаясь не за себя, а за него, отца. Так, словно совсем не поняла или и в самом деле не поняла слов жандарма. Стояла, плохо понимая, что с ней происходит, и в то же время следила, как рваными клочьями, кольцами быстро расплывается в воздухе синий дымок от сигареты жандарма, иногда на миг закрывая от нее побелевшее лицо отца с черной черточкой рта.

Прошла минута, две, а может, только мгновение. Черная черточка на белом лице отца слегка перекосилась, губы скачала немо зашевелились, а потом уже, казалось, когда отец кончил говорить, до нее долетели слова:

- Я только... я только очень прошу вас... Я хорошо знаю - дочь ничего не знает... И я, если хотите, умоляю вас, как мужчина мужчину... Вы должны... ку... - Ему, видно, так и не хватило силы вымолвить слово "повесить". - Вы должны... меня одного...

Кажется, на какой-то долгий или короткий миг Яринка будто потеряла сознание или просто у нее закружилась голова. Когда же снова сквозь туман начала воспринимать окружающее, солнце все еще висело над верхушками грабов, а дымок от сигареты рваными клочьями все еще летел через подворье, цепляясь за кусты черемухи, и в вечернем воздухе повисла какая-то неестественная тишина. Такая неестественная, что даже ни одна пташка нигде не откликалась, или она, Яринка, просто оглохла...

Но потом Мюллер, поколебавшись и, наверное, решив, что уже разыграл свой страшный спектакль до конца и дальше уже идти некуда, сказал, криво усмехнувшись:

- Я тоже отец. И у меня есть тоже... айн, цвай, драй...

три дочка. И я тебе верю... То есть я не верю, никогда не поверю, чтобы отец ради кого-то там не пожалел родной дочка. Мы тоже... как это? Тоже психолог...

Он бросил на траву окурок, придавил его носком сапога и сразу же почти бегом бросился к бричке.

С криком, лаем, возгласами бросилась за ним и вся свора.

Возгласы, топот, лай постепенно удалялись, наконец совсем стихли.

Из леса, из низин, из оврага и ручья потянуло влажной прохладой. Воздух наполнился густой синевой. Над тихим лесом замерцала первая искристая звездочка.

А они так и стояли друг против друга. Стояли еще долго, молча. До тех пор, пока из-за лесной полосы, из-за темных валов придорожного терна не выплыл на бархатно-фиалковые просторы неба красный горящий ломоть чуть уже ущербного месяца... Стояли, пока Яринка, немного угомонившись, не подумала, уже спокойнее, о той нежной, беленькой девушке с рыжими веснушками на переносице: "Как же она там, в Подлесном? Все ли там благополучно?.."

А Настя Невенчанная, та хрупкая девочка, совсем уже успокоившись после страшного утреннего приключения, сидела себе в Подлесном, на завалинке под хатой у старых Брайченков, даже и не скрываясь особенно... У кого же могло возникнуть хотя бы отдаленное подозрение, кто бы мог подумать, что это именно она - такой вот цыпленок маленький - может быть настоящим советским парашютистом!.. Да она же, наверно, прикажи ей прыгнуть с обыкновенной груши, навех перепугается, а не то что - страшно ведь сказать - с самолета! Ночью, на оккупированную

гитлеровцами территорию!

Да что уж "кто-то там"!.. Даже сам Яринкин отец некоторое время спустя, когда Настя перебралась в лес, в их хату, не то что не знал, ему и в голову ни разу подобное не пришло! Даже когда сказали -и тогда еще не сразу поверил. Стоял ошеломленный, только пожимая плечами да недоверчиво покачивая головой, не зная, что и говорить.

И все же "он", этот цыпленок, действительно прыгнул!

Пусть и не совсем удачно, оторвавшись от товарищей, запутавшись в ветвях старого дуба, из которых ей одной, без Яринки, верно, так просто и не выпутаться бы. И если бы не набрела на нее Яринка, возвращаясь из Балабановки, от старого Цпмбала, попала бы таки Настя в руки гитлеровцев...

Однако Яринка успела опередить их. Она распутала девушку, спасла, обрезав стропы парашюта, сняла с дуба, переодела, спрятала ее вещи, оружие и рацию в улье и успела еще и в Подлесное отвести. Отвела и временно приютила у старых Брайченков, даже и в мыслях не допуская, какие перемены принесет, как перевернет ее жизнь этот день и эта случайная встреча...

...Тогда, в августе, обрезая крепкие, будто из проволоки, стропы парашюта, снимая с дуба в Калиновой балке девушку, в руке у которой был тяжелый пистолет, за плечами - зеленый вещевой мешок, а в глазах - полно слез, Яринка ободрала себе до крови пальцы.

А вскоре, через каких-то два месяиа, став по воле обстоятельств переводчицей у новобайракского крайсландвирта Дитриха Вольфа, разбередила себе и душу.

Только подумать! Она, Яринка, гордая и непримиримая, спрятав в карман свою гордость, свое по-детски откровенное презрение к каждому, кто хоть что-нибудь, хоть и не по своей воле, сделал что-то на пользу немцам, должна разъезжать и в райцентре, и по селам вместе с немецким офицером!..

Сидела рядом с ним на заднем сиденье чудом уцелевшего лакированного, на тонких рессорах, фаэтона, запряженного парой вороных рысаков. Лошадьми правил Федор Гуля - пожилой, как ей казалось, мужчина лет сорока пяти. И то ей еще повезло, что именно Федор Гуля, а не кто другой, - Федор Гуля был своим человеком, и только он один знал, что она за "переводчица".

И уже не раз и не два ловила Яринка на себе неожиданно быстрые, острые и, мало сказать, презрительные или недоброжелательные, просто испепеляющие взгляды.

Те взгляды жгли огнем и с мучительной болью напоминали каждый раз о Гале Очеретной. О Гале, которую она так тяжко и

так незаслуженно оскорбила, а теперь и приблизительно не знает, дойдет ли хоть когда-нибудь до подруги ее искреннее признание вины и запоздалое (не безнадежно ли запоздалое?) раскаяние...

Наконец, словно чувствуя ее состояние, даже сам шеф Яринки - Дитрих Вольф - иногда находил в этом что-то такое, что его развлекало и толкало к юмору. Посматривая на девушку сбоку и сверху - он был намного выше Яринки - со своего лакированного сиденья в фаэтоне, который перекатывался из лужи в лужу, Дитрих, до этого глубоко и о чем-то серьезно задумавшийся, вдруг весело, но не без въедливой, хотя будто бы и добродушной, иронии замечал:

- Смотрю я на вас, фрейлейн Иринхен, и думаю: для обычной украинской девушки, не фольксдойче, да еще знающей немецкий язык в объеме примерно таком, как ваш шеф и покорный слуга знает чешско-польско-украинско-русский, вместе взятые, вы сделали неплохую карьеру, став переводчиком самого районного крайсландвирта... Но... не кажется ли вам, что эта карьера пришла к вам слишком поздно?

- Во-первых, вы это повторяете сегодня уже второй раз, а во-вторых, вы все очень хорошо знаете и без меня.

А в-третьих, идите вы, как бы это сказать на вашем чешско-польско-русско-украинско-немецком диалекте, к дяблу, тшерту или тойфелю. Впрочем, мне все равно.

- Прошу прощения, - будто вполне серьезно и искренне сказал Дитрих, но я совсем не хотел вас обидеть... Наконец, - не пощадил он и самого себя, - моя собственная карьера складывается так же... блестяще, как и ваша. Несмотря на то что начал я с Польши (может, знаете или слыхали город Сопот на Балтике?), лейтенантом сделали меня только после этого, - тут он показал ей левую руку, на которой осталось всего два пальца, мизинец и безымянный, - на Дону, недалеко от Сталинграда, и с того времени моя полуцивильная, полувоенная карьера мчит меня, словно обезумевший Пегас, с Дона на Донец, с Донца на Днепр. И я так и не могу согреть комендантского места нигде больше, чем три-четыре месяца. В конце концов, я начинаю побаиваться, что это может закончиться Дрезденом, Лейпцигом или даже самим Берлином. Но там к тому времени комендантов хватит и без меня.

- Интересно, - проговорила Яринка. - Вы вот все знаете... А все же... Провоцируете или... прошу прощения, может, лучше сказать - работаете по приказу пана Бухмана или по собственной инициативе?

- О-о-о! - искренне возмутился Дитрих. - К черту пана Бухмана! Во-первых, каждому свое. У меня свои заботы, а у пана

Бухмана их до черта и без меня. И кстати, и без вас. К тому же пан Бухман - жандарм, наци, эсэс и еще там что-то. А я - простой солдат фюрера. - Он снова усмехнулся, произнеся последние слова. - И я просто чуть-чуть интересуюсь, как это сказать... психологией. Вот я, например, в своем положении чувствую себя вот так. Ну, а другой человек в подобном положении, вот вы, например? Как? Скажите честно, вас... Как это?.. Ну, не беспокоит... А, нашел... не пугает, если вас будут называть... О, прошу понять меня правильно!.. Будут называть, лишь в связи с должностью, как это у вас говорят?.. О!

Вспомнил!.. Я уже слыхал такое не раз. Ну, как это?..

Немецкий озтшарка?..

У девушки от этих слов вдруг словно что-то оборвалось в груди. Оборвалось и резануло острой болью. Но внешне... внешне Яринка даже не побледнела. Она лишь какое-то мгновение помолчала, а потом тихо презрительно процедила:

- Мне совершенно безразлично, кто там что говорит или будет говорить. Я просто не интересуюсь тем, что обо мне могут говорить или говорят. Я просто ненавижу, пан шеф и простой солдат фюрера!

- О-о-о! - Дитрих по-настоящему уже удивился и заинтересовался. - Даже я, немец, воспитанный этой самой... системой капитализма, даже я удивлен, каким глубоким, выходит, даже неодолимым может быть чувство собственности. Может, меня вылечила от него солдатская жизнь? Ведь... Вы же хорошо знаете, самая большая личная собственность солдата - собственная голова. И теряет он ее, не успев даже пожалеть. А что касается вас, то вы даже запомнить ничего этого не успели.

- Дело не в чувстве собственности, а в чувстве достоинства, - точно так же серьезно ответила Яринка. И ответ этот прозвучал для Дитриха убедительно.

Он помолчал, подумал, а потом все же не удержался и снова спросил:

- Скажите... если все это правда... Да мне, наконец, все равно, и на пана Бухмана мне начихать... Опять-таки из простого чувства любопытства и чистой психологии.

Я, наконец, сын простого собственника не такой уж и большой городской пекарни в Богемии. Так вот: как может себя чувствовать собственник или собственница шестисот гектаров одного леса и нескольких... я уже забыл...

- Четырех, - машинально подсказала Яринка.

- Ага!.. Четырех тысяч десятин такой плодородной, как у вас на Украине, земли?

- Вы знаете, пан шеф, я ответила бы вам с удовольствием, но,

по правде говоря, сама не знаю и не понимаю!

- О-о-о!.. - еще с большим удивлением воскликнул шеф. - Но ведь...

- Но ведь пан шеф должен был бы помнить, что всеми теми богатствами я не владела ни одной минуты. Однако полагаю, что такой человек, да еще в спокойных условиях, мог бы чувствовать себя совсем неплохо. А вообще... я и сама не знаю, что тут правда, а что легенда.

Если верить людям, то в Польшу успел сбежать один лишь мой двоюродный брат, легионер Пилсудского, Ясик Калиновский. (Я его пыталась теперь разыскать, но...

война есть война.) Остальные мои родственники трагически погибли в гражданскую войну, когда мне не было еще и двух лет. Меня спасла, удочерила и воспитала, как простую крестьянскую девушку, преданная нашей польской родне семья лесника, фамилия которого тоже Калиновский. Своих детей у них не было. А с фамилиями тут можно такое встретить частенько: поляки и украинцы, паны и мужики - с одинаковой фамилией... Впрочем, мой незваный отец совсем-совсем неплохой человек. И если бы мой родной отец, которого я и в глаза не видела...

- О-о-о! - покачал головой Дитрих. - О-о-о! Который уже раз слышу я эту чудесную... как это... легенду, и каждый раз она трогает меня до слез.

- Легенду? - переспросила без гнева, лишь с легким укором Яринка.

- Ну, наконец... В лучшем, как говорят, в реалистическом, понимании этого слева.

Кто знает, может, и в самом деле этот довольно симпатичный судетский собственник пекарни (еще один из бравых и веселых немецких парней) именно так и понимал слово "легенда". Как-то так, в духе прославленного немецкой литературой романтизма. Не подозревая даже того, что имели в виду и какой смысл вкладывали в него, устраивая Яринку к Дитриху в "переводчики", командир десантной группы Сашко Сапожников (которого здесь перекрестили в Чеботареико) и староста села Новые Байраки Ефим Макогон.

Если говорить откровенно, то двадцатишестилетний лейтенант, стройный, даже красивый, с худощавым, продолговатым лиием и большими, серыми, с твердым взглядом глазами, мог считаться человеком вообще симпатичным. Хорошо воспитанный, с основательным средним образованием, которое он приобрел еще в чешских Судетах и которое давало возможность ему шире смотреть на жизнь, иметь какие-то гуманистические "иллюзии", как сказали бы немцы, получившие

среднее образование в предвоенное и военное время в самом рейхе... Совсем не похожий на обычного самоуверенного хама в форме гитлеровского офицера, к стандарту которого уже привыкли на оккупированных землях, он, между прочим, ничем не проявлял (по крайней мере в то время) фашистских убеждений и от нацистов, от их партии, разговаривая с Яринкой, начисто себя отмежевывал.

По правде говоря, у Ярннки не было оснований считать его разговоры такими уж неискренними. Можно было все же поверить, что этот парень, который мог вести умную беседу по любому поводу и на любую тему, действительно был равнодушен ко всему: к воине, наци, фюреру, к тому, что может думать о нем сам Бухман и что может подумать какая-нибудь туземная переводчица.

Он даже хорошо не знал, зачем ему теперь и эта переводчица и сам он тут, как сельскохозяйственный комендант в местности, которая уже, собственно, считалась военной прифронтовой зоной и подчинялась законам военного командования. Да что уж там говорить о нем, Дитрнхе, если и самому Бухману приходилось сбиваться с ног, очищая близкие фронтовые тылы от настоящих и предполагаемых подпольщиков, разведчиков и партизан, и только и радости, что иногда опрокинуть чарку с тем же Дитрихом, начальником полиции или старостой Макогоном.

И все же Яринку, которая и без того чувствовала себя словно на лезвии бритвы, настораживало, а временами и по-настоящему пугало то, что слишком часто вертелись Дитриховы разговоры с ней вокруг одного; слишком часто возвращался он к одной и той же теме в беседе, которая большей частью начиналась весьма избитой сентенцией:

- В нашем с вами, фрейлейн Иринхен, комендантском деле, в такой вот Корсуньской ситуации, самое главное - не упустить момент и не вырваться преждевременно. Упустить момент - ваши подтянут веревкой на перекладину, они, правда, делать этого как следует еще не научились, но кое-кого подтягивали, ого! - а вырвешься заблаговременно вперед - объявят паникером свои - вешать своих у пас теперь времени не хватает, значит - пуля в затылок... Так что, фрейлейн Принхен, вы меня прекрасно понимаете...

Особенно возбуждал у Дитриха интерес к таким разговорам шнапс. А к нему лейтенант со дня на день обращался все чаще. Правда, совсем почти никогда не пьянел, только в его холодных глазах внезапно начинали пробегать какие-то дикие огоньки, и их Яринка боялась больше всего.

А через Новые Байраки - именно через Новые Байраки! -

прямо вдоль Дитриховой комендатуры, райуправы и помещения полиции день и ночь шли на восток и юго-восток размокшей дорогой, прямо по тропинкам, а то и огородами, до осей увязая в фантастической грязи, немецкие мотомеханизированные и танковые войска.

Шли на восток (возвращались, правда, и на запад) и пешие, и конные, и моторизованные, волоча за собой различных "тигров" и "фердинандов". И за всем этим надо было внимательно следить, незаметно и по возможности точно пересчитывать их, чтобы не пропустить самого главного и разузнать о самом важном. И большей частью держать в памяти, не записывая, да потом еще засекать в памяти немолодого Федора Гули или почти мальчика - "полицая" Валерика Нечитайло.

Иногда Яринке приходилось по-настоящему не спать по двое-трое суток. А должна была еще исполнять и комендантско-переводческие обязанности и поддерживать разговоры с Дитрихом Вольфом, которые становились все более продолжительными, однообразными и напряженными.

Хорошо, хоть обязанностей у Дитриха (следовательно, и у Яринки) с каждым днем становилось меньше и каких-то особенных знаний немецкого языка комендант от нее и не требовал.

Когда познакомил их староста Новых Байраков Ефим Макогон, Дитрих (чуть-чуть подвыпивши) с любопытством посмотрел на хмурую девушку, небрежно расспросил, кто она, откуда, как и где училась немецкому языку, что делала до этого, и на ее ответы откровенно сказал:

- Этот... как по-вашему?.. Зи шпрехт? Говорил, так?..

Вы говориль ни отшинь харашо. Но мне лучше и не надо.

Шпек, курки, яйка, млеко и шнапс я знаю и сам. О том же, что туземный мужик должен сдать корову, не имеет права колоть свиней, должен ехать туда и туда - вы ему переведете вполне прилично. Ну, а больше пока что в нашем деле и не требуется. Так, пан Макогон? - обратился он уже к старосте.

- Да, оно, конечно, так, - усмехнулся Ефим Макогон- А за девушку я вам ручаюсь. Девушка - Яринка, одним словом - гут...

...К тому времени гитлеровцы уже повесили Золотаренко. Иван Бойко действовал еще на свободе и даже жил, не скрываясь, в Подлесном.

Золотаренко Яринке заменил Цимбал. Он и свел ее со старостой села Новые Байраки Ефимом Макогоном.

И только Ефим Макогон, Федор Гуля и еще, может, только господь бог знает, каких усилий стоило, сколько пришлось помозговать для того, чтобы устроить эту "надежную девушку гут"

переводчиком хотя бы к Дитриху, а Валерика Нечитайло подсунуть в полицию.

Сначала командир десантной группы Сашко Чеботаренко настаивал на том, чтобы то ли ее, то ли Федора Гулю - кого-нибудь - устроить в жандармерию. Но где уж там! Хорошо, хоть так. И более или менее своевременно.

Ведь войска уже шли и шли. Настя сидела за рацией у старика Калиновского почти без работы, а Чеботаренко ежедневно пробирали по радио, он рвал на себе волосы и НИКОМУ не давал житья.

- Мне, - кричал он, забыв, кто его подобрал и выручил, - все ваше подполье, хоть с молниями, хоть с громапи, до лампочки! Мне нужны разведка и разведчики!

А они мне дохлого фрица подсунут и радуются, как маленькие. Передавай, мол, уничтожили, помогли фронту.

Да плевать мне на вашего фрица! Не буду я на него больше не то что слов, а ни одной буковки тратить! Мне дайте что-нибудь вот такое, во!.. Путное! Чтобы в штабе фронта заинтересовались! А вы - фрица!

Десант, выброшенный в их краях откуда-то из-под Мариуполя, направлялся, говорят, куда-то дальше. А попал - так уж вышло - в Подлесное и Терногородку. Оно конечно, не такой уж там и десант. Одно только слово громкое... Просто организационно-партизанская группа - шестеро хлопцев и седьмая девушка Настя с рацией... Сначала разбрелись кто куда. Первой на их след напала Яринка. Дала знать Бойко, а тот дальше - Шульге. Так пошло от группы к группе, от "Молнии" к "Молнии". Пока собрали их, свели вместе, обстановка на фронте изменилась, и им приказали так и остаться в районе Подлескэе - Скальное - Новые Байраки и базироваться на "Молнию".

Хлопцы сразу же разошлись по группам и отрядам, переходя с места на место и подолгу нигде не засиживаясь. Командир остался в "Раздолье", которое служило подпольным штабом. Настю устроили у Калиновских, спрятав рацию в рамочный улей на пасеке. А потом - в сарай вместе с ульями. В определенные часы (держался специальный выезд) рацию вывозили в лес отстучит Настя, что надо, рацию - в улей, а Настя снова к Калиновским, на печь, к бабушке Агафье. Сначала отстукивала раз в неделю, потом - два, позже приходилось и по три раза, а уже в январе такое началось, что хоть бери да и по три раза на день отстукивай. Так было, когда немцы стояли еще за Днепром, под Киевом. А когда дошли до Корсуня и немцы целыми дивизиями попали в окружение и их бросились освобождать из Корсуньского "котла", тут уж было не до отдыха, а порой и не до осторожности.

Яринку и еще нескольких сразу вызвали к Цимбалу (Золотаренко не дождался десанта). Цимбал ей строго приказал: никакой "Молнии" чтобы и знать не знала, с Бойко никогда и знакома не была. Чтобы за какую-то неделю всюду словно ножницами все обрезала. Чтобы ни ты ни у кого, ни у тебя - особенно у тебя, в лесу, ни одного человека не было. Безразлично, свой или чужой.

А Настя - мамина родственница из города, вот и все.

Документы ей выправят такие, что и комар носа не подточит. А тебя, ненадолго (может, только раз и поговорите)

познакомлю с этим человеком.

Жил Цимбал тогда в Балабановке. Худощавый, бойкий, с круглой бритой головой и седыми, ежиком, усами под тонким хрящеватым носом, был он мастер на все руки: и сапожник, и портной, и к ведру ручку приделает или донышко вставит. Одним словом, на хлеб себе как-то зарабатывал.

Яринка пришла где-то в полночь. На чистой половине Цимбаловой хаты храпели на кровати два немца из маршевой части. А в другой, с кухонькой и чуланчиком, горел ночничок. Цимбал сидел за низенькой табуреткой на треногом стульчике, подпоясанный полотняным, засаленным, почти черным фартуком, и сучил дратву. Его жена - полнотелая, круглолицая женщина чистила в кухоньке картошку, а из-за печки, из чуланчика, на голос Цимбала вышел человек, тихо поздоровался и сел возле него на пустой стульчик. Высокий, сухопарый, лет двадцати пяти. Нос длинный, острый, глаза темные и колючие.

В зеленом стеганом (хотя и лето) ватнике. В пилотке и сапогах. Подпоясанный, на ремне пистолет, а через плечо новенький офицерский планшет.

Одним словом, это и был командир десантной группы капитан Александр Сапожников. Он сразу сказал ей, что в прятки им играть нечего, он знает о Яринке все, а она если не о нем, то о Насте тоже все знает. Вот он и хочет, чтобы Яринка переходила полностью на разведку. Разведка- глаза и уши армии. А она уже не маленькая и должна понять, что, если бы это не было так важно, их бы сюда не забрасывали и он бы ее теперь среди ночи не беспокоил. Следовательно, если согласна, пусть говорит.

Если нет, они, как говорится, красиво разойдутся.

Командир уставился на Яринку острыми глазами, а она под его взглядом ощутила даже какое-то замешательство. Зарделась и тихо ответила:

- Вообще будет, как тов... то есть пан Цимбал скажут... А мне все равно! Буду делать то, что и раньше.

- То было одно, а это - другое... Не боишься? - Он снова

пронзил ее взглядом. - Понимаешь, на что идешь?

Если доведется... Случится... - Ему, наверное, очень не хотелось выговаривать слово "попасться" или "засыпаться". - Если случится, одним словом... знаешь, как там будет?.. Выдержишь?

- Не хуже других, - почему-то рассердилась Яринка. - Давайте лучше о том, что и как надо делать.

- А ты, девушка, с характером, - будто даже удивился командир. - Оно если к делу, то и неплохо. Но иногда надо и по-иному: зажать тот характер в кулак - и в карман. А теперь смотри сюда и запоминай.

Он достал из планшетки в несколько раз сложенную гармошкой карту и развернул на табуретке два ее квадратика с пометками нескольких приазовских городов, голубыми лентами Кальмиуса и Миуса и двумя неровно нанесенными - черной и красной - линиями.

- Вот здесь сегодня, девушка, стоит фронт. - Он закрыл одну "гармошку" и открыл другую, на которой заголубели петли Днепра. - А здесь пролегли пути, по которым немцы подвозят к фронту свои части, боеприпасы... А это вот - ваш район... Так меня интересует эта дорога. - Он резко провел ногтем, очерчивая неровный квадрат между Подлесным, Терногородкой и Новыми Байраками. - Все, что на этой дороге, - твое. Каждая колонна, машина, пушка. Каждый солдат и каждая пометка на машине, танке или пушке. Понимаешь, о каких пометках идет речь?

- Разумеется, понимаю.

- Так вот... Будешь добывать сведения пока что (если не случится чего-то особенного) раз в три дня.

Устраивайся, как удобнее. Хочешь - одна, захочешь - возьми надежного помощника. Но одно условие - тебя никто и ты никого не знаешь. Здесь осторожность и еще раз осторожность самое главное.

И он вдруг, ну просто неожиданно в той ситуации, усмехнулся. Как-то тепло, подбадривающе и задорно сказал:

- Так-то, чернявая!.. А дополнительные инструкции еще получишь... А теперь, - он снова стал строже, - желаю тебе больших успехов на благо и честь нашей отчизны! И... до свидания в лучших, мирных условиях.

Коротко прошелестела и исчезла в планшете гармошка карты. И он скрылся за дверцами чуланчика так же незаметно и быстро, как и появился.

Довольно долго - может, месяца четыре - разгуливала по улицам Подлесного, не раз проходила по дороге на Балабановку или Новые Байраки Яринка Калиновская. Иногда сиживала у окна какой-нибудь из подруг или знакомых, а порой и ночевала у

Брайченков или у других близких. С неослабным вниманием пронизывала глазами не только немецкую колонну, а и каждую пушку, танк или машину, особенно присматриваясь к каждому рисунку, знаку или эмблеме, какими обозначался немецкий транспорт и тяжелое оружие. Позже ей те "собаки", "олени", "пантеры", "львы" и "кабаны" даже снились по ночам.

Засекала в молодой памяти, подсчитывала и передавала сведения для невидимого теперь капитана Сапожникова, который, наверное, из многих источников все подытоживал и передавал Насте. Передавал в колонках непонятных цифр-шифровок, которые потом девушка отстукивала и отстукивала своими тоненькими, почти детскими, пальчиками.

Яринка работала упорно, на совесть, даже голова кружилась и ноги гудели от усталости. Однако не могла избавиться от ощущения, что все то, что она делает, похоже на какую-то детскую забаву или игру. Понимала, что это не так, понимала всю серьезность и необходимость этой работы, и все же... Даже вот здесь, в глубине этой темной ночи, за этой колючей проволокой, как вспомнит да еще сопоставит с тем, что произошло и что дел? ла позже, так и не может не подумать, не сравнить ту, прежнюю работу с игрой или забавой. Пусть даже такой, что не раз кончалась смертью.

О Макогоне Яринка слыхала не впервые. Знала, какая плохая слава шла о нем по селам, знала его лютость, жестокость, выслуживание перед немцами. Все это, обрастая слухами, давно распространялось из района в район, и на многих наводило ужас даже одно только слово:

Макогон...

Но Яринка знала уже тогда и другое. Знала, и это страшно удивляло девушку: как это иногда можно приобрести такую шумную славу совсем обычными, казалось бы, на иные масштабы просто мизерными средствами.

Креме двух-трех более или менее значительных историй, среди которых была и казнь предателя - начальника полиции, и слухов о выдаче жандармам двух парашютистов, чего-нибудь особенно "выдающегося", что выделяло бы Макогона среди других старост, не было. Ко в то же время...

Яринка пришла прямо в хату к Макогону. Пришла, как и приказано, ночью.

Человек, возможно, еще и не спал, но уже собирался укладываться спать, это наверняка. Однако на условленный стук - два раза по три и потом снова два по три - двери открыл сразу, смело, ничего не расспрашивая. Молча пропустил девушку в сени, а двери запер на тяжелый железный засов.

В сенях было совсем темно. В комнате - тоже. Пахло свежим хлебом, квашеной капустой и еще чем-то похожим на сухой чабрец или васильки. В кухоньке, за просветом, завешенным полотнищем, тускло светилась л?мпа. Единственное окошечко в этой чистой и аккуратной кухоньке тоже было завешено темным одеялом.

Макогон оказался человеком лет за сорок. Был сейчас в синих галифе, в валенках на босу ногу и в несвежей уже, расстегнутой нижней сорочке из желтого солдатского полотна. В кармане галифе что-то оттопыривалось, явно похожее на пистолет, сквозь разрез сорочки виднелась широкая, густо поросшая седоватыми волосами грудь, а над тесным, широченным поясом галифе достаточно выразительно нависал живот отвыкшего от физического труда, пожилого человека.

А вот лицо... Лица Макогона Ярннка сначала и не разглядела. Оттого, что, как только вошла в кухню, изза полотнища появилась статная, дебелая молодица.

В сорочке и в темной, как видно, только что наброшенной широкой юбке, с черной, закрученной узлом косой.

Макогон сразу же и наказал той женщине, не дав ей и поздороваться:

- Ты, Парасю, собери нам что-нибудь поесть. Девушка издалека, дорога тяжелая, так, наверное, и проголодалась.

Параска проворно и ках-то незаметно собрала на стол, сама нарезала широким ножом несколько ломтей белого хлеба и по привычке протерла рушничком ложку и вилку.

- Иди, Парасю, спи. Меня не жди. А тут нам больше ничего и не надо. Разве что на топчан на всякий случай бросишь кожух. А ты, Яринка... Кажется, ведь Ярпнка?..

Садись ближе и перекуси, чем бог послал, с дороги...

Параска, снова не промолвив и слова, вышла и до самого утра не показывалась.

Ярннка сидела возле маленького, до желтизны выскобленного столика и не без аппетита ела нарезанное кусочками розовое сало, холодные вареники с творогом обмакивала в холодную ряженку, а потом запила все это сладким узваром.

Макогон присел у шестка на низеньком стульчике и, пока девушка ела, курил немецкую сигарету, пуская дым в печку, и молча, внимательно и, как показалось девушке, будто даже печально смотрел на Яринку спокойными, темно-зелеными, немного припухшими глазами. Были у него пушистые косматые брови, высокий с залысинами и уже изборожденный морщинами лоб, полное, одутловатое лицо, твердо стиснутые губы, большой

подбородок и негустые, обвислые усы.

Когда Яринка допила узвар, аккуратно собрав на тарелку вишневые косточки, грушевые хвостики, и вытерла краешком рушника губы, Макогон выпустил сквозь усы струйку дыма и наконец разомкнул сжатые губы. Заговорил спокойным, глуховатым голосом:

- Оно бы не хотелось... так не хотелось бы нам, Яринка, посылать тебя туда. - Он даже руками развел, и в голосе прорвалось что-то отцовское. Но ведь... другого выхода у нас сегодня нет. Честное слово, нет... Посоветовались мы, подумали с капитаном и так и этак и... надумали. Вот так надо! - Он провел пальцем по горлу. - Давай выручай, Яринка, потому что это дело не только наше. Тут, если хочешь, дело народное, государственное...

- Так, товарищ... так, дядя Макогон, - сразу поправилась Яринка. Разве я что? Маленькая? Или не знала, на что шла? Да только скажите, что надо...

Макогон помолчал, не торопился с ответом. В кухоньке наступила настороженная тишина. А он затягивался дымом, будто обдумывая следующие слова. И немного погодя заговорил, как бы сам с собой:

- Так-то оно так... Послали бы тебя Бухмана пристрелить, и знаю пойдешь.

- Да, и пойду!

- Говорю же, что знаю. А вот если скажу, что кончилось, девушка, твое "гуляньечко", потому как засватали мы тебя, Яринка, Дитриху Вольфу в переводчицы, то что ты мне на это скажешь?

- Что-о-о?.. - испуганно, удивленно, еще не веря тому, что слышит, приглушенно протянула Яринка. - Что-о-о?!

- А вот так и есть... Обо всем уже договорились.

Идти туда у нас больше некому. И уже завтра утром пойдем мы с тобой к пану крайсландвирту наниматься.

И еще, скажу я тебе, нам повезло. Ибо среди ихнего брата он не самый худший, скажу тебе...

В кухоньке надолго залегла тяжелая, гнетущая тишина. И в этой тишине все живое и мертвое вдруг тревожно всколыхнулось, поднялось откуда-то из самой глубины Ярныкиной души: и мама, и Грицько, и Галя, и Дмитро, ее веселый, гордый, бескомпромиссный Дмитро. И тот маленький силуэт детской головки, что и теперь спрятан в ворсе отворота ее цигейковой шубки, и то твердое обещание - ничего, ничего не делать на пользу немцам. И подумать только!.. Она - рядом с каким-то немецким комендантом, его переводчица и... мало ли еще кто и

что может там подумать. Идет по улице села, а из-за каждой изгороди или ворот глаза... глаза... глаза... Нет, наверное, лучше пойти и убить какого-нибудь подлеца, какого-нибудь там Бухмана, Мюллера, Калитовского...

Не произнесла ли она последние слова вслух? Потому что сразу с удивлением услыхала спокойный голос Макогона:

- А нам та смердящая Бухмаиова жизнь сейчас и не нужна. Нам больше... нам очень много теперь нужно, девочка...

И стал еще спокойнее, сдержанным голосом объяснять, почему она должна пойти в комендатуру. День и ночь мимо комендатуры, у самых окон, через Новые Байраки идут войска, менее чем за сотню километров отсюда происходит одна из самых больших, в чем-то даже решающих битв. Ее глаза и уши, следовательно, глаза и уши нашего командования, должны быть здесь. Это приказ. А какой же солдат не исполняет приказа? Объяснил, что и как должна делать в комендатуре. Да и не сама она туда идет, не по своей воле. Ее посылают на большое дело, приказывают...

Яринка и слушала и не слушала... Перед глазами стояла бричка, которую она видела у Мюллера в Подлесном. И она, Яринка Калиновская, в той бричке, рядом с жандармом?! Ну, пусть даже с немецким офицером. Едет отбирать у голодных детей последнее, что имеют, - корову или телку. А в спину глаза, глаза, глаза... Оглянешься - опущенные головы. Отведешь взгляд, а они лезвиями в спину: глаза, глаза, глаза... Молчат и молча жгут.

Вот, мол, смотрите, какая овчарочка у нас появилась!

И стынет, снова долго стынет в темной кухоньке Макогона тяжелая, гнетущая тишина. И только иногда что-то треснет в немецком табаке, потому что курит те сигареты Макогон одну за другой. Нелегко и ему посылать девочку, словно собственную дочку, черту в зубы. И, видно, человек уже начинает волноваться.

Тишина вдруг взрывается не громом, не криком, а тихими приглушенными словами:

- Ни за что!

- Что - ни за что? - как бы спокойно спрашивает Макогон.

- Не пойду ни за что, - пояснила она с твердой решимостью.

- Не хочешь? - все еще сдержанно переспрашивает Махсгон.

- Не могу! Не могу! - твердо, раздельно повторяет

Яринка.

- Не можешь?! - вдруг поднялся на ноги Макогон и сразу показался даже более стройным и молодым. - А когда согласие давала капитану, тебя что силой тянули?

- На такое не давала... Такого не могу!

- Не можешь?

Макогон бросил окурок на пол, в солому, долго и зло растирал его пяткой валенка. Растер и не спеша сделал несколько шагов к столику. Подошел, нагнулся, заглянул девушке в глаза, и теперь его глаза показались Яринке не зелеными, а темными, будто даже помутневшими.

- Не можешь? - переспросил в упор, и ей показалось, что он сейчас закричит, затопает ногами. Но Макогон еще больше понизил голос и так просто, как отец дочке, неожиданно пожаловался: - А я, думаешь, могу?

Я - железный? Мне, думаешь, танцевать хочется, когда каждый тебе насквозь глазами спину пронизывает, когда даже дети... вслед плюются... Я уже давно не могу!.. Но только бывает так, что надо и через "не могу"...

От этих его слов и голоса Яринке кровь ударила в лицо, и, сама стыдясь своих слов, она взмолилась:

- Да что угодно... Куда угодно... Только не это. Только не туда. Да еще если бы я не была девушкой... Что обо мне (пе теперь, теперь - уж бог с ним!) тогда люди подумают!

- Но я же тебе сразу сказал. Не хотелось нам тебя туда посылать. Но выхода, понимаешь, выхода другого нет! Хоть садись и плачь... А что о нас люди будут говорить... Прежде всего надо спасти тех людей, чтобы хоть было кому говорить... А там... Знали, на что идем, - уже жестко и прямо отрубил он. - Может... да, вернее, так оно и будет, что и говорить не о ком будет. Мертвые срама не имут...

- Но бывает же, дяденька Макогон, даже мертвому стыдно!..

- Не бойся... Нас поймут... О нас, если что, с того света справку пришлют. И по той справке будут еще нам с тобой, девушка, вон какие памятники ставить!.. Не каждому отдельно, разумеется, а так... всем... Ничего, доченька, не забудется. А если бы... если бы даже кто-то и поверил, что на нас и в самом деле какое-то пятно... все равно нам сейчас надо свое делать... А памятники - в нашем деле, в государстве нашем, в памяти друзей... Теперь же...

Теперь, пока думает нелегкую думу Яринка Калинозская, разрешая этот, наверное, впервые на своем коротком веку самый сложный вопрос, не знает она, что нет, нет еще, а может, и совсем не будет памятника старому чекисту, который, выполнив свой долг, так и умер, то ли под своей, то ли под чужой фамилией Ефима Макогона.

...Дурная слава преследовала Макогона, а сам он ходил везде не только с пистолетом в кармане, но и с увесистой дубинкой в руке. И бил людей. Бывало, следует или не следует, а по плечам

так и потянет дубинкой, лишь бы рукой дотянулся. Да еще и скажет: "Это тебе не советская власть!.." Тут тебе, мол, власть немецкого рейха и самого фюрера. Так вот знай, тут тебе в зубы смотреть не будут... И хотя, может, и не больно донимали Макогоновы палки, да и гуляли они чаще всего по спинам тех, кто к немцам клонился, но... бывало всякое. Да не так та боль донимала, как сам факт. Ведь советские люди, даже те, что постарше, давно уже забыли то время, когда на них кто-то мог поднять руку, а молодые - вообще такого не испытали. И каждый удар дубинкой, когда бы и где бы Макогон ни ударил (хотя бы и для вида только), люто оскорблял, унижал человеческое достоинство и запоминался на всю жизнь.

А еще умел Макогон ругаться. Уж так хитромудро и с выкрутасами особенно при немцах, - что не всякий и слыхал на своем веку подобную брань. Любил еще принимать, угощать немцев и водиться с ними. И хотя прямых отношений с полицией не имел, но каждый полицай в селе за разные послабления попробовал-таки его дубинки. И тут уж лупил Макогон со всей силой своей крепкой руки, от сердца... Да и людей на немецкую каторгу приходилось отправлять, и коров отбирать, и поставки немцам возить... Но хуже всего - пить и гулять с ними! А плохая слава все больше и больше расходилась о нем по округе.

Но вот наконец пришло и освобождение района.

Немцы удирали, бросая на размокших и грязных дорогах машины, пушки, танки, подчас не успевая даже и поджечь. Из Новых Байраков за несколько дней перед тем сбежало одно только высокое начальство, наспех, собственноручно, перестреляв в тюрьмах жандармерии и полиции до ста человек арестованных подпольщиков, партизан и другого ни в чем не повинного люда. Перестреляли, да так и бросили в камерах. Даже припрятать не успели. Спаслось около двадцати женщин, которых подпольщикам посчастливилось освободить из женской камеры в ту страшную, памятную Яринке на всю жизнь, ночь.

...А в один мартовский день загремело из Подлесного, и с восходом солнца ворвались в Новые Байраки наши бойцы...

И сразу же, перекрывая выстрелы и рев моторов, пошел по селу говор. На одном конце села еще немцы в грязи тонут, а на другом из погребов, чердаков, укрытий уже выбежали навстречу нашим с радостным плачем, криком и шумом женщины, девушки, дети. Бежали по огородам, через плетни, по размякшим улицам, лужам... А у ворот своей усадьбы, смотрят, сам пан староста, Ефим Макогон в синих галифе стоит... Встречает... Еще даже и улыбается...

- Лю-ю-доньки! - всплеснула вдруг руками, остановившись

посреди улицы, худенькая, остроносая молодица. - Макогон!.. Не успел, гад, удрать, да еще и зубы скалит!.. Солдатики наши, родненькие! Это ж он, наш дьявол-мучитель, староста стоит! Попил нашей кровушки!.. Парашютистов наших немцам выдавал!

А тут подвернулся какой-то низенький, коренастый сержант в плащ-палатке, с ног до головы грязью забрызганный, с автоматом, в каске, еще и граната в руке. Один, наверное, из тех, что уже успели побывать в камерах жандармерии...

- Ты, - спрашивает, бросившись к Макогону, - староста?!

- Староста, - улыбается странно Макогон.

- Староста Новых Байраков? - переспрашивает сержант. - Тот самый, Макогон?

- Ну, Макогон...

- Так мы же о тебе, гад, еще в Подлесном и Терногородке наслышались. И в полиции насмотрелись на твои и твоих дружков-фашистов дела!..

И не успел никто и глазом моргнуть, как сержант уже автомат Макогону в грудь наставил. Тот и сам с пистолетом в кармане и граната за поясом. Ему бы обороняться или кричать, а он... Не будет же он в своего стрелять!..

Только горло ему сдавило, и вдруг побледнел, может, впервые в жизни так смертельно побледнел, пытаясь, да, кажется, и не пытаясь или не имея сил и времени что-то объяснить... Ударил автомат, и на одно лишь мгновение приглушил окружающий гам. Блеснуло из него, как молнией, белым пламенем...

- Не задерживаться, сержант! Вперед!.. - крикнул из-за плетней молоденький лейтенант в пилотке.

Ефим Макогон схватился обеими руками за живот, согнулся вдвое, потом распрямился, широко раскинул руки, качнулся и упал на спину в мокрую, раскисшую землю, лицом к небу.

Не было ни речей, ни музыки на похоронах Ефима Макогона. Да, пожалуй, и похорон самих не было. Лежал вот так на оттаявшей сырой земле весь день, пока кто-то не зарыл его на краю огорода, не спрашивая, что и к чему. И нет, наверное, нет еще памятника Ефиму Макогону.

А может, и могилы самой нет, осела и с землей сровнялась. Только дело, за которое воевал он безымянным бойцом, жизни не жалея, живет на нашей земле и будет жить вечно.

Но все это было потом, не на Яринкиной памяти.

А пока что живой еще Ефим Макогон и Яринка Калиновская сидели в тесной кухоньке. Думали молча каждый о своем, о том, что надо что-то и как-то решать, о своей тяжелой ответственности, о том, что каждого из них ждет завтра. И как

надо вести себя одному в зависимости от намерений другого.

Кто знает, уже какую по счету, но не последнюю в ту ночь сигарету докуривает Макогон. А докурив, отходит от стола и снова садится на низенький стульчик у шестка.

Яринка молчит, все еще о чем-то думает. Думает, мучается, и кажется ей, что весь мир, вся жизнь ее должны сломаться, да уже и ломаются в эту тихую ночную минуту.

Первым снова заговаривает Макогон.

- Мы не можем тебя неволить. Скажу тебе прямо, даже во имя дисциплины и данного слова не могу, не хочу тебя принуждать, а только напоминаю тебе в последний раз...

И, нагнув голову, заглядывая ей в глаза, сказал тихо, но чеканя каждое слово:

- Приглашает тебя, девушка, на свадьбу Федор...

Этими словами, которых уже никогда не надеялась

услыхать, но все еще помнила, словно обухом по темени девушку ударил. Она, как сидела, так и окаменела, ошеломленная. Как будто сам Федор Кравчук встал перед глазами и внезапно обратился к ней с этими словами.

И она сидела и молчала, не в силах и рта раскрыть.

А Макогон, обождав и сам какое-то время, совсем уже тихо и немного даже удивленно спросил:

- А что, Яринка, неужели забыла?..

И лишь после этого она опомнилась, напрягла память.

- Пускай погуляет до осени тот Федор, - сказала чуть слышно, но четко выговаривая слова. И добавила: - Нет, не забыла, дядя Макогон, как можно!

- Ну, а если не забыла, если знаешь, на что шла, если дождалась, поднялся на ноги Макогон, - тогда...

Тогда спрошу еще... Ты же комсомолка?..

- Да, - тихо отвечает Яринка.

- Ну, а я - коммунист... Так скажи мне: кто же тогда нас поймет, если мы друг друга не поймем? Правильно я говорю?

И тогда, невольно прикоснувшись рукой к отвороту расстегнутой шубки, она ощутила металлический значок.

И, соглашаясь, девушка не отвечает, а, скорее, вздыхает:

- Правильно, дядя Макогон...

- А если правильно... Если веришь мне, то уж верь до конца... Иди... Сразу и лес свой, отца с Настей, рацию этой службой прикроешь... Нет у нас другого выхода, девушка...

Иного выхода тогда у них действительно не было...

У них...

А Яринке до сих пор ни разу и в голову не приходило, что все для нее может обернуться именно так.

Но в сущности еще после смерти матери, с того времени, когда ей хотелось умереть и самой, с тех ночных раздумий над книжкой, после которых она приобрела в Скальном значок с силуэтом детской головки, она, пусть даже еще и не представляя, что такое война, не представляя своего участия в ней, подсознательно готовила себя совсем-совсем к иному.

Артур из "Овода", Павка Корчагин, даже Давид Мотузка из "Бурьяка" каждый из них, каковы бы ни были обстоятельства, шел навстречу опасности прямо, гордо, один на один... И никогда и никуда не сворачивал с прямого пути. Одним словом, тот знакомый уже максимализм был во всем. И она тоже... Раз и навсегда! Как в "Моисее" Франко... Не помнит, думала ли о тех строчках именно в ту минуту, в той кухоньке. Возможно, в тот момент о них и не думала. Но они вспомнились ей сейчас, вспоминались те строки и потом и всегда связывались с той, теперь такой далекой, ночью. Почти всегда, когда прикасалась к значку рукой, чувством, мыслью - "И пойдешь ты в странствия столетий с моего духа печатью..."

И она пошла. И шла по тому пути... И самого страшного уже не боялась и не побоялась бы. Но...

Но когда вот здесь, вот сейчас, уже соглашаясь разумом с Макогоном и осознавая всю безвыходность положения, ока машинально коснулась рукой отворота и невольно уколола себе палец... она не могла воспринять, охватить чувством, всем своим существом того положения, в котором должна оказаться, и в ту минуту искренне верила, что ей и вправду лучше пойти на какой-то самый отчаянный поступок и умереть. Наступит конец. И не надо будет выбирать.

"Да, смерть!" - снова, уже сердито и нервно дернула она себя за отворот, снова слегка укололась о булавку и вдруг (порой не знаешь, благодаря какому механизму всплывают и связываются между собой давние и настоящие, этой секунды, мысли!) подумала: "Смерть? Снова о смерти?.." Ведь когда она зашла в скальновский культмаг и взяла в руки этот значок, который давно стал для нее не просто значком, а символом, смыслом всего, за что она боролась, именно тогда, думая о нем, она и выбросила из головы мысль о смерти, преодолела впервые со времени похорон мамы отвращение к жизни, какое-то безволие, отсутствие интереса ко всему живому до самой глубины впервые в жизни пораженной смертью детской еще души. "С моего духа печатью..."

Но... У всякого своя судьба и свое представление о собственном пути. У нее оно связывалось еще и с Лесиными словами - не быть "только дождиком осенним, пылать или жечь, но не вялить", где-то на черных дорогах Уленшпигелей с горячим

пеплом Клааса, что стучит и стучит в смелое и, главное, открытое сердце.

Она совсем не боялась того, что ей предлагали. Она только горько, жгуче стыдилась и просто не представляла себя в такой роли... А так... Она, собственно, почти свыклась, срослась с мыслью, что ее когда-нибудь могут и раскрыть точно так же, как и любого другого. Не она первая, не она последняя. И даже в том случае, если и не посчастливится умереть сразу, а придется... что придется, она тоже хорошо понимает! - все равно! Она готова, она знает, что сможет выдержать и выдержит это... Мысленно она всегда готова была ко всему, закаляла дух, волю, характер, приучала себя презирать смерть и презирать врага. И думала порой: "Вот хожу я, такая маленькая, незаметная, и смеюсь им в лицо. Меченные моим взглядом "леопарды", "пантеры" и "тигры", не ведая о том, идут, словно по моей воле, прямо под огонь наших пушек и наших бомб. И что они могут мне сделать? Мне - девушке, которая может подойти вот к тому самому грозному офицеру и с презрением взглянуть ему прямо в глаза.

А он и не подумает ничего... Ведь кроме того, что я девушка, я же еще и безоружная, хотя на самом деле владею оружием в тысячу раз более могучим, чем он, несмотря на то, что в эту минуту могу противопоставить ему, им только свою выдержку и характер".

И она, проходя каждый день сквозь десятки опасностей, закаляя себя, совсем перестала бояться гитлеровцев и держалась так спокойно, так уверенно и просто, что никому и в голову не приходило не то чтобы проверять, а даже заподозрить ее в чем-нибудь.

Она научилась не выдавать себя ни одним движением, тенью на лице и тогда, когда видела муки, а то и смерть своих людей. Ее хорошенькое, но строгое лицо только каменело, становилось непроницаемым, а в голове билась одна-единственная мысль: "Спокойно... Спокойно... Я должна сохранять полнейшее спокойствие и запомнить, запомнить им также и это!" Наконец, она могла позволить себе даже кому-нибудь из них усмехнуться (или скривиться где им там в этом разобраться!). Но быть постоянно с одним из них, играть свою роль ежесекундно, без перерыва и отдыха, разговаривать о чем-то с ним...

о чем-то будничном, а то и веселом... с врагом, в то время когда вокруг страдание и слезы. И главное - все будут видеть ее рядом с фашистом, все будут думать... И что самое важное - она будет знать и все время чувствовать, что они думают. И она - это понимал не только Макогон, капитан или Цимбал, - нет, она сама понимала, какая она еще молодая, зеленая для такой роли!..

Еще не увидев, не представляя себе, какой он (да и не пытаясь представить это!), Яринка люто, со всей злостью, на какую только была способна, возненавидела того крайсландвирта ненавистью, которой хватило бы не то что на одного, а может, и на всех гитлеровцев.

Ненавидела тем яростнее, что знала: другого выхода не было. Наступил такой, пожалуй, единственный в жизни момент, когда можно вслух сказать об этом самыми торжественными, самыми громкими словами: ее звала Родина!.. Действительно звала и требовала ее помощи...

Тысячи и тысячи людей, которые могли бы остаться в живых, тысячи и тысячи людей, которые могли бы благодаря Яринке, ее скромной роли не осиротеть, не овдоветь, требовали ее помощи.

Конечно, тогда, в сумрачной, до сизого тумана прокуренной Макогоном кухоньке, Яринка такими громкими словами не думала. Но ощущала и чувствовала, наверное, именно так.

Зима сорок четвертого года закончилась еще в начале января. О грунтовых дорогах, проселках нечего было и думать. Наши части наступали напрямик, по бездорожью, не разбирая ни дорог, ни меж, и не то что машины или там подводы, - кони, солдаты, пехота увязали чуть ли не до колен на размокшей стерне, зеленых коврах озими, пышных, будто пшеничное тесто, пашнях.

Страшным было для гитлеровцев это отступление.

Позади их спешенных колонн, или, собственно говоря, толп злых, измученных, по уши грязных солдат, оставались не дороги, а реки, настоящие, глубокие реки исколесованной на метровую глубину грязи, загроможденной - по двенадцать - шестнадцать рядов на протяжении десятков километров - разбитой, обгорелой, а то и уцелевшей техникой.

На двадцать восьмое января немецкие войска, попавшие в огромный "котел" на древней, овеянной славой полков Богдана Хмельницкого, корсуньской земле, были полностью окружены нашими войсками. Советское командование начало грандиозную операцию по расчленению и полной ликвидации большой группы немецких войск, которые хотя и яростно огрызались, но уже обессилели и выдохлись.

И тогда из далеких и близких тылов на прорыв и спасениз окруженных Гитлер бросил новые, свежие подкрепления, чтобы любой ценой попытаться разорвать грозное кольцо и вывести свои части.

Районы - Подлесненскнй, Новобайракский, Терногородскпй, Скальновский стали в сущности боевой зоной, ближайшим тылом фашистских войск.

А по двум оставшимся в этой зоне мощеным и шоссейным

дорогам день и ночь рвались к фронту, с ходу бросаясь в бой, батальоны, полки и механизированные корпуса, оснащенные танками, скорострельными пушками, дальнобойной и сверхмощной артиллерией, вооруженные до зубов.

И где-то там, - может, в ста километрах, а то и ближе, - советское командование должно было знать не только ежедневно, но и ежеминутно о местонахождении, количестве, вооружении, боеспособности, номерах и названиях воинских частей врага на марше, готовя им соответствующую встречу.

Одним словом, где-то здесь, в этом месте и в эти дни, на шоссе, которое перерезало Подлесное, Терногородку и Новые Байраки, должны быть глаза и уши наших армий, воевавших на корсуньском поле. И они, разумеется, были. А среди них люди Макогона, десантная группа капитана Сапожникова, которая должна была обеспечить операцию "Молния-один", бросив на разведку в зоне Новых Байраков все, что только могло быть в ее распоряжении, - несколько замаскированных групп "Молнии", иную, более глубокую разведывательную агентуру и, собственно, все население, с нетерпением ждавшее своего освобождения. Действовать приходилось в условиях жесточайшего прифронтового режима, самого бдительного надзора немецкой контрразведки и больших карательных экспедиций, которые рьяно очищали ближайшие тылы от партизан, подпольщиков, советских разведчиков и всех других, кто хоть в чем-то, хоть немного был заподозрен.

И здесь, собственно, шла война, то тихая, невидимая, как поиски разведывательных групп в лесу или на поле в глухую полночь, а то и настоящая, гулкая, прорываясь порой открытым, молниеносным боем, диверсионным взрывом, нападением на полицию или жандармерию.

...Макогон закуривает новую сигарету, и, когда выпускает из носа дым, за дымом его почти не видно.

- Ты же пойми, наконец, сейчас на это дело брошено все. Ты же не одна, но, может, одна из самых главных.

Ты только посмотри. - Он снова встает, подходит к столу и чертит на скатерти большим, согнутым пальцем невидимую карту. - Наша дорога для них, может, самая важная. Ни на пашкю, ни в речку, ни в лес немцы не полезут. А дорога идет через самый центр. Ты только погляди:

окна комендатуры и райуправы смотрят прямо на шоссейку. Сиди у Днтрнха возле окна и смотри на улицу.

Все равно у него теперь работы никакой нет. Разве что чемоданы укладывать. Напротив твоих окон - полиция.

Жандармерия немного дальше, через улицу, и по той глухой

улице войска не идут. Устроить туда своего человека просто невозможно, даже мне. У них там свой переводчик: военный и настоящий немец. А тут - сиди, смотри на улицу и только запоминай. А они же идут!.. День и ночь идут... Кроме того, ты же знаешь по-ихнему. Забежит к Дитриху из колонны какой-нибудь офицер, что-то спросит, что-то скажет. Придет письмо, приказ, кто-нибудь и на ночь останется... Подслушаешь, прочтешь, увидишь... Однажды у него какой-то оберет ночевал. Чуть ли не командир дивизии... Ну, сама скажи, имеем ли мы право оставить такое место пустым?.. Одним словом, капитан приказал нам, а я, выходит, должен приказать тебе - раз; потом - я же тебя все равно "продал" и утром пообещал привести в комендатуру - два, и, может, я из-за тебя и грех на душу взял, одному только повредил, а другому жизнь совсем загубил - это тебе три.

Четвертое - не черту в зубы тебя бросают. Кучер у Дитриха, Федор Гуля, - наш. Валерик Нечитайло в полиции, напротив комендатуры, - наш. И оба подчиняются тебе.

Должны слушаться каждого слева твоего. Ну, а пятое...

Пятым должен был быть сам Макогон. Но он подумал и умолк. На него в этом деле надежда небольшая.

У него и своих забот было по горло. Одной лишь разведкой в его положении не проживешь. Все эти группы, отряды, десанты корми да перепрятывай, немецкую эвакуацию срывай, детей, если не всех, то хоть половину, от немецкой каторги спасай, семьи красноармейцев хоть как-то поддерживай... И... господи! Опять же и немцам как-то служи, не говоря о более важных заданиях. А ведь только пить с теми шефами, жандармами, комендантами и всякими проезжими грабителями - пить и не спиваться! сколько времени, сил и здоровья на это уходит!

Так...

- ...Собственно, здесь уже и не пятое... Тут еще, хочу сказать тебе, кого незнакомого, даже из десанта, сюда не возмешь. Кого-то малограмотного - хоть людей хороших и полно вокруг - не посадишь... Да и сколько их, этих десантников?! Им бы успеть подсчитать и зашифровать... - И закончил так, будто все уже было до конца решено и согласовано: - А сведения передавай, как будет удобнее: когда - Гуле, когда - Валерику, а когда-то и мне. Я у Дитриха бываю частенько, так что ты не унывай. А Гуля - ведь он только кажется с виду таким, а в голове трехзначное на трехзначное моментально перемножит!.. Так-то, Яринка!..

А какой грех на душу взял, так Макогон и не рассказал Яринке. А взять взял. Должен был, чтобы как-то определить Яринку к коменданту. Ведь ни Гуля, пристроенный кучером еще при одном из прежних комендантов, ни Валерик Нечитайло,

совсем еще юный, неполных семнадцать и в полиции только недавно, такого дела, на таком важном его этапе сами обеспечить не могли.

А переводчик у коменданта, по сравнению с самим Дитрихом Вольфом, был настоящий оборотень! Будто и не бил и не калечил никого, но уж такая канцелярская душа - не человек, а пронумерованная книга с параграфами. Его, бывало, даже мертвецки пьяного не обойдешь, такой был рьяный и преданный немцам этот фольксдойч из местных кооператоров Мусий Менш.

И что самое неприятное-чересчур уж был недоверчив и осторожен. Всем не доверял, чуть ли и самому коменданту. А о нем, Макогоне, и говорить нечего!.. Взглянет как-то снизу, исподлобья, и криво усмехнется: "Что-то вы очень грамотны, пане Макогон, для сельского старосты..." Да еще и головой покачает. Уж на что заместитель Дитриха Кугель, принципиально считавший, что ьадо без предупреждения расстреливать каждую вторую "славянскую швайн", так и тот принимал Макогона за друга. А Мусий, можно сказать, "свой", только фамилия какая-то ч \жая... Ну, да хоть и недаром подозревал...

Не очень, правда, вежливо, но все-таки пришлось Макогону его убрать. Еще и вышло так чисто, будто в самом деле пьяный человек сдуру под грузовую машину угодчл. А на машине немцы ехали. Что с них возьмешь?!

Потом Дитрих нашел себе, как на грех, какую-то старенькую учительницу немецкого языка. Но стоило ей получить обычное письмо с угрозой и советом захворать, как старуха тотчас послушалась этого совета. Одно только жаль очень всерьез приняла к сердцу это письмо и захворала вправду и надолго.

Так подошла Яринкина очередь. Макогон пообещал Дитриху, который остался один после того, как Кугеля отправили на фронт, обеспечить его настоящим переводчиком. Пообещал и слово свое сдержал. Привел девушку, а не какого-то там пьянчужку. К тому же и внешне приятную, и вежливую, и образованную. И посмотреть, и поговорить, и послушать интересно в такой глуши, да и в такой тревоге.

.. Дитрих, как это сразу выяснилось, был достаточно образованный и не нацист, вроде и не хам. Наоборот, учтивый. И - если бы Яринка не так остро, еще до того, его не возненавидела - даже в чем-то приятный человек...

Одним словом, если бы для мирного времени - человек как человек.

Только от скуки и безделья, от тревог и душевной сумятицы тянуло его на разговоры больше, чем хотелось Яринке. А в разговорах (сознательно или несознательно)

он ставил ее порой в сложное положение своей, совсем ей ненужной, откровенностью. Ненужной еще и потому, что одним из важнейших правил, которого она придержкврлась по совету старших и которое и сама, если не разумом, то инстинктом поняла, было: никогда и ни о чем не расспрашивать Дитриха. Ничто, кроме служебных обязанностей, не должно ее интересовать. И особенно - фронт, положение немецких армий да и все, что касается "политики".

Живет, мол, себе такая дурочка - немного знает понемецки, зачем-то перед самым освобождением района полезла (сдуру, не иначе) в переводчицы, - пусть и живет. . Мало ли каких людей на свете не бывает!

А ему, особенно когда выпьет, в такое ее растительное существование и восприятие окружающего мира верить не хочется, и "легенду" ее о панско-трагическом происхождении он пропускает мимо ушей. А тут еще и работы, собственно, никакой, кроме символической (на всякий случаи, конечно) подготовки к эвакуации.

Вот и сидит Яринка за низеньким столиком возле окна, время от времени поглядывает на улицу, всю в лужах, залитую жидкой грязню и забитую машинами, и одним пальчиком по латинским буквам пишущей машинки отстукивает с ужасными ошибками, к чему Дитрих относится с философским спокойствием. Потом всякие приказы она все равно переведет и размножит по-украински.

"Всем! Всем! Всем! Старостам сельуправ, общественных хозяйств, государственных учреждений, мельниц, крупорушек, пекарен, магазинов, складов и т. д. Немедленно под личную ответственность привести в порядок и подготовить к полной эвакуации все подчиненные вам...

Все, что состоит в вашем распоряжении, - зерно, мука, тракторы, машины и т. д. и т. д. В случае невыполнения - расстрел на месте..."

Яринка ко всему тому, что пишет, относится так же безразлично. Во-первых, ей каждый раз надо не сбиться и после каждой сотни насчитанных военных машин поставить на клочке бумажки крошечную точку. После двадцати пушек пли танков - запятую... Эмблемы, какими немцы так любят украшать свои машины, запоминала и так. (Бывало, что целый день по улице продвигались одни "тигры".) А во-вторых, она очень хорошо знает, что у всех старост, управляющих, директоров и т. д., у каждого лично (и дома, и в учреждении) уже есть изготовленная типографским способом бумажка, начинающаяся точно так, как и эта:

"Всем! Всем! Всем!.. Председателям общественных хозяйств, госхозов и других учреждений!.. Все вы два года, по принуждению или по собственной воле, служите врагам своего народа, устраиваете себе на том сытую жкзнь... Теперь приходит этому конец. Пройдет еще некоторое время, и вы будете отвечать перед народом!

Чем вы оправдаете свою собачью службу у фашистов?..

Спасайте все от эвакуации, сохраните народное добро. Не дайте немцам вывезти машины, скот, хлеб..."

И подпись на той бумажке - "Молния".

Разница в отношении к своей работе между Яринпой и Дитрихом лишь в одном: девушка все знает, но побаивается - а что, ест и где-то найдется подлец и послушается Дитриховой бумажки, а Дитрих, побывав уже комендантом в нескольких районах, знает твердо: все немецкие машины увязли в грязи, все местные, советские тракторы, которые еще вчера были исправными, сегодня, как по команде, зышлм из строя и ждут ремонта. Выходит, альзо .. никакой эвакуации не будет. Тут бы как-то сообразить, чтобы хоть самому вовремя голову унести.

Вот почему Дитриху становится тоскливо. Он закуривает сигарету, подходит к окну, долго смотрит на забитую машинами, залитую черной невообразимой грязью улицу и, вдруг повернувшись всем корпусом к Яринке, спрашивает.

- Слушайте, фрейлейн Иринхен, вы скажите... только правду, есть ли здесь, на оккупированных территориях, хоть несколько, простите, туземцев, которые любили, понимаете, любили бы и уважали бы нас как немцев и как наци? А? Честно!..

- А почему же, - первые дни хитрила Яринка. - Я, например, очень люблю некоторые пьесы Шиллера, стихи Гёте и Гейне и немецкие романы. Ну... Келлермана, Генриха Манна, Вилли Бределя.

- Если принять во внимание наше очень недавнее знакомство, - усмехнулся Дитрих, - то.. Я совсем не знаю, кто это - Бредель?.. Слыхал о Манне, но., достаточно уже одного Гейне, чтобы считать ваш ответ слишком смелым...

Яринка в ответ на это лишь пожала плечами. А он продолжал дальше:

- Вы знаете о том, например, что Гейне еврей?..

- Для меня это не имеет значения. У нас здесь в местечке жило много евреев, и среди них у меня было много близких подруг. Над такими вопросами не было нужды задумываться, мы никогда и не задумывались

- Собственно, до какого-то времени, почти до самой войны, и я тоже... Я, как вам известно, жил и воспитывался в Чехии и

сначала тоже не придавал этому значения... Однако вы не ответили на мой вопрос по существу.

- А разве отвечать на подобные вопросы входит в мои служебные обязанности?

Внутри у него что-то, бесспорно, накипало. Пробуждались, нарастали, тревожили какие-то мысли, но он не мог их как следует сформулировать. Иной раз подолгу задумывался, а иногда сам начинал рассказывать о том, что видел и слышал. Главное, что видел. Он был сравнительно еще очень молодым, но уже успел, как завоеватель, увидеть кроме Германии Чехию, Польшу, Францию, Бельгию. Побывал и в Италии и Румынии. И когда он рассказывал о Париже, Риме или Флоренции, слушать его было интересно, и Яринка, заслушавшись, порой и забывалась. Во Флоренции его внимание невольно привлекли знаменитые галереи Питти и Уффици, бессмертные творения Микеланджело и Челлини; Рим и Париж увлекли его будничной жизнью, людьми, обычаями, случаями фантастически смелых ("Теперь я имею "счастье" наблюдать такое, только в больших размерах, у вас") нападений французских патриотов на оккупантов.

- Еще у Наполеона я научился верить, что силой, даже враждебной, увлекаются, ибо она импонирует...

А тут... Меня удивляло, и я часто думал про себя, почему так яростно ненавидят сейчас в мире немцев? Прямо до смешного...

И он рассказал о случае, свидетелем которого был сам. Однажды почти все парижане ходили по городу с удилищами, так, словно все вдруг стали завзятыми рыбаками. Только значительно позже немцы узнали, что это была своеобразная демонстрация, поддержка какогото воззвания Де Голля по радио... Потому что само слово "голь" - означает что-то подобное удилищу.

- Просто удивительно, как нас ненавидят. Почему?

Вы не знаете или не хотите сказать, фрейлейн Иринхен?

- Не знаю, - категорически ответила Яринка, и он замолчал.

Когда Дитриху с Яринкой становилось скучно и позволяли его обязанности, он частенько исчезал в обществе начальника полиции Коропа, каких-то офицеров маршевых частей, кого-нибудь из жандармов и даже Макогона и возвращался не скоро и навеселе.

Но как бы он пьян ни был, веселее от этого никогда не становился. Наоборот, именно таким он ошеломлял девушку самыми неожиданными вопросами:

- Фрейлейн Иринхен, скажите, а вы не боитесь? - В его глазах загорались на один миг и сразу гасли какие-то дикие голодные

искорки.

- А почему я должна бояться?

- Ну, к примеру, за меня, за...

- Это меня совсем не касается. И это "боюсь" снова же не входит в мои служебные обязанности.

- Айн момент! Вы меня не так поняли. Не за мою бедную голову, нет!.. О моей голове тут, наверное, никто не пожалеет. Но... вот за то, что вы пошли работать ко мне, что вы... как это говорят во Франции?.. (У вас для этого есть совсем другие слова!) Ага, вспомнил, коллаборационистка! И вот - придут сюда ваши, и тогда...

аллее капут! Не только таким, как я, но и вам. Да, да!..

Капут! Расстрел, смерть. В лучшем случае Сибирь или...

За меня... За то, что вы - коллаборационист и... как это у вас говорят: овтшарка! А? Вы не боитесь?

Это "овтшарка" было для Яринки словно выстрел.

И надо было приложить большие усилия, чтобы сдержаться, не дать ему пощечины или не плюнуть в пьяную, перекошенную усмешкой рожу. Но она сдерживалась.

Хотя позволяла и себе становиться на острие бритвы:

- А может, я совсем и не коллаборационистка?

- Тогда... кто же вы, дочь богатого польского помещика, расстрелянного большевиками?! - последние слова он произнес с нажимом, явно намекая на их "легендарность".

- Мало ли что! Вы сами как-то рассказывали, что среди французских партизан была даже одна русская княгиня.

- Ну и что?!

- А может, и я какая-нибудь партизанка или... разведчица? - глядя ему прямо в глаза, выпалила она.

Дитрих с минуту молчал, а потом разразился по-настоящему веселым смехом.

- А что вы думаете! - выкрикнул он сквозь смех. - Возможно, что и так! Только какой я объект для разведки? Да и наконец, фрейлейн Иринхен... Все равно!

Аллее капут, и все это меня не интересует. Это - дело гестапо, жандармов, а по мне, можете действовать прямо. Советую вам только остерегаться Бухмана, Коропа и особенно этого, как его?.. Мак-кма... Макогона... О-о-о!

Этого следует остерегаться особенно! Несмотря на то что он ваш близкий знакомый или даже друг...

И снова разразился веселым смехом.

Чем дальше, тем он чаще возвращался пьяным. Иногда предлагал выпить "чего-то легонького" и ей. И когда девушка решительно отказывалась, осуждающе махал рукой, наливал себе

и снова повторял слова, которые уже стали у него навязчивыми:

- Э!.. Аллес капут!

И чем дальше, тем чаще вспыхивали в его пьяных глазах тревожные, дикие и голодные огоньки. И Яринки, когда Дитрих бывал в таком состоянии, просила Гулю, чтобы ют, управившись с лошадьми, всегда сидел в конторе, ближе к кабинету, и сразу появлялся на ее оклик.

Дитриху, когда он как-то случайно услыхал такой ее приказ, объяснила:

- Мало ли что!.. Просто для удобства пана коменданта.

- О-о-о! - посмеиваясь, поводил пальцем перед своим носом Дитрих. - Я уже и вправду начинаю верить, что вы разведчица, фрейлейн Иринхен.

- Вы просто все больше и больше пьете, - ответила ему Яринка. - Вы что, боитесь, пан комендант? Вам страшно?..

- О-о-о! Фрейлейн Иринхен, да вы читаете в людских душах... Вы же и сами не понимаете, как близко стоите к истине... Я, знаете, уже столько насмотрелся за последние два года. И в этом Корсуньском "котле" варится, кажется мне, очень плохое для нас варево!

- А меня ваши котлы и кувшины совсем не интересуют!

Иногда, больше для виду, они с Дитрихом садились в фаэтон и, преодолевая немыслимую грязь ("Такое я встретил только у вас, фрейлейн Иринхен. Такой чернозем можно мазать на хлеб вместо масла или этой, как это... руська икра!.."), ехали в какое-нибудь из готовившихся к эвакуации хозяйств или предприятий. То были самые тяжелые и самые сложные минуты в теперешней Яринкиной жизни: она вынуждена было показываться рядом с немецким комендантом в позорной роли его переводчицы, и те часы или несколько десятков часов отрывали ее от центральной дороги, от главного ее дела.

В другие часы она постоянно следила за улицей, ибо жила при комендатуре в маленькой комнатке вместе со старушкой вдовой - кухаркой.

В "общественном хозяйстве" - бывшем колхозе, на МТС, мельнице или складе Дитриха всегда льстиво встречал сам управляющий или директор, обычно какая-нибудь старая лиса - кладовщик из тех, которые всю жизнь и при любых обстоятельствах ищут себе легкой жизни, уголка потеплее да куска хлеба послаще... Они еще издалека снимали шапки или фуражки, прежде всего предлагали угощения, избегая взгляда коменданта, уверяли, что все, аллее, будет гут, что - на всякий случай - скот и имущество готовы. Они даже пробовали ухмыляться мертвыми, кислыми усмешками, поняв, что

прогадали, что попали в положение, когда не только тепленького местечка, но и головы лишишься, если не от этих, то от тех.

Несмотря на угощения, льстивые заверения и улыбки, не только они, но и сам пан комендант понимал, что никакой "эвакуации" не будет, что хлеб за несколько дней обязательно куда-то уплывет, тракторы и машины окажутся все как есть неисправными, а лошади просто словно сквозь землю провалятся.

Дитрих напускал на себя строгость, ругался последними словами, угрожал кого-то избить (хотя при этом никого так и не бил), грозился всех перестрелять или лучше - перевешать... Но, садясь в фаэтон, сразу остывал, словно чайник, из которого выпустили пар, бессильно, как только управляющий исчезал с глаз, махал рукой и с безразличием и покорной безнадежностью повторял свое:

- Э!.. Все равно!.. Аллес капут!..

Поначалу ей казалось, что работать здесь не так уж и сложно. Дитрих ей не мешал. Гуля, Валерик да и сам Макогон почти всегда были под рукой. Вокруг при разных, больших и малых, боевых стычках, заметных и тихих диверсиях и гибло, и попадало в руки врага их людей, пожалуй, столько же, как и до этого. Бухману с его жандармерией - тремя пожилыми эсэсовцами - и Коропу с его полицией тем более было не до Яринки. И особенно не до Дитриха. И хоть Бухман также "головой отвечал" за готовность к "эвакуации" и "чистоту" тылов, мог ежеминутно что угодно приказать Дитриху (да и что угодно с ним сделать!), он пока еще ничего такого не делал, и ничего такого не случалось. У Бухмана было по горло работы с партизанами и подпольщиками, а подпольщиками здесь ему казались все, потому что в последнее время участились случаи распространения листовок "Молнии", повреждений армейской связи, машин, хищений имущества и поджогов. О том, что происходит в канцелярии крайсландвирта, должен был заботиться и заботился сам комендант. Тут не то что о канцелярии, но иногда не хватало минуты, чтобы пропустить чарочку с тем же Дитрихом, Коропом или Макогоном...

И Яринка "нахально" (как она говорила о себе мысленно) считала немецкие подразделения, разные там эмблемы и, смело сбалансировав, передавала для шифровки, только изредка успевая подумать об отце и маленькой Насте, которая где-то в лесных сторожках и тайниках по ночам выстукивает ее "балансы" для советского командования, наверняка и представления не имеющего о Яринке и ее работе.

Она уже на память выучила всех этих "зубров", "бизонов", "лисиц", "коней", "собак" и "тигров" и разбиралась в них, как опытный штабист, определяя по эмблемам род войск, название, а

то и номер части.

Иногда ей везло просто фантастически. Особенно повезло дважды. Как-то в кабинете Дитриха ночевал немецкий генерал, и она сама отстукала двумя пальцами приказ коменданта председателю райпотребсоюза выдать 10 кг масла и 20 кг сала для нужд такой-то (номер, слушайте, номер!) немецкой части генерала Клепса...

В другой раз, когда какой-то оберет, остановившись перед крыльцом на полчаса, заедал чарку шнапса салом, положенным на ломоть хлеба, намазанный маслом, и совал коменданту какую-то бумажку, она подсмотрела и запомнила всего только три слова и два - дробью - трехзначных числа... Только это... И только за это - всего один раз за все время - Макогон передал ей благодарность капитана Сапожникова от имени неведомого далекого командования... А разные изысканно-угрожающие названия, которые она угадывала по эмблемам, полки и дивизии, иногда и батальоны "Тотенкопфов", "Адольфов Гитлеров", "Нахтигалей", "Германов Герингов" или "Эдельвейсов" даже снились ей по ночам...

А в один день... Нет, то было утром, - и утро, запомнила Яринка, солнечное, потому что февральское солнце уже поднялось высоко, а небо было чистое, - без стука, неожиданно распахнулась дверь, и в их канцелярию вошел и стал на пороге... черный офицер.

Такого офицера Яринка видела только раз, а вот теперь - второй за всю войну - офицер во всем черном, с головы до ног. Только череп и скрещенные кости на рукаве были белые, посеребренные.

Офицер был высокий, с тонкой, как у осы, талией.

И, видно, очень утомился в дороге. Его вытянутое, невыразительное, какое-то серое и вместе с тем жесткое лицо словно закостенело.

Несмотря на усталость, черный офицер вытянулся, звонко стукнул каблуками, резко выбросил вверх правую руку и так громко и четко выкрикнул свое "Хайль Гитлер" и отрекомендовался, что Дитрнх даже подскочил.

Куда и девались его вялость и ленивая неповоротливость!.. Так рванулся неожиданному гостю навстречу, так хайлькнул в ответ (правда, несколько испуганным голосом), что вышло не хуже, чем у приезжего гестаповца.

И прямо на глазах лицо Дитриха сначала посерело, а потом покрылось мертвенной бледностью.

Яринка не запомнила, зачем приходил и что требовал или о чем справлялся черный офицер. Но побледневшее лицо Дитриха

запомнила. И подумала, что об этом посещении Сапожников обязательно должен знать. Тут же она поняла, что в районе появился или вскоре появится отряд настоящих гестаповцев, перед которыми дрожали не только местные жители, но и немцы, вплоть до самых высоких чинов.

Гестаповцы теперь появились в их краях второй раз за всю войну. Это говорило о серьезности положения на фронте и в ближайшем немецком тылу. Гестаповцы не только подчеркивали бессилие или неоперативность частей в серых и голубовато-зеленых мундирах, нет, они одним своим присутствием обвиняли их в том, что те преступно не справились и уже не справятся со своими обязанностями по "усмирению", "успокоению" и "радикальному очищению" прифронтового тыла, в котором для немецкой армии сложилась обстановка опасная и нетерпимая.

Тихим, каким-то бесшумным, по страшным смерчем прошел черный отряд гестаповцев вдоль и поперек их края, оставляя на своем пути пожарища, трупы, виселицы, переполненные тюрьмы. Но смерто, казнь людей гестаповцами мало кто и видел. Каратели почти невидимы, они действовали, как видно, по ночам и в застенках.

И только страшные слухи катились кровавым эхом по их с те дам.

Когда гестаповец вышел, Дитрих долго сидел у себя за столом, окаменело глядя в окно через улицу. Видно, обдумывал, взвешивал, как, каким образом притихнуть,

спрятаться, стать невидимым, пока пронесется эта черная смерть. И, наверное, не в силах подавить свою тревогу и не имея возможности поделиться ею с кем-то другим, сказал:

- Запомните, фрейлейн Иринхен, кто бы вы ни были, дочка шляхтича или советская разведчица... Эти так просто, без всякого повода, не появляются нигде...

- Знаете, пан комендант, - сухо ответила Яринка, - всякие шутки имеют предел...

- Какие там, черт возьми, шутки! - рассердился комендант. - Они появляются в самый критический момент, чтобы нагнать страху всем, сверху донизу. Понимаете, настоящего страху! А нагонять страх они умеют.

Это уж я знаю...

- Но, пан комендант, меня это совершенно не касается! И я совсем не хочу знать...

- Меня не интересует, что вы хотите знать. И не прикидывайтесь глупее, чем вы есть на самом деле. Вас это, может, и действительно не касается... Разве только так... - Дитрих криво и страшно усмехнулся, - за компанию с начальством, если

оно попадет под горячую рчку... А вообще чья-то, и, наверное, не одна, голова теперь определенно полетит... И если хотите, фрейлейн разведчица, то... не какие-то там, а настоящие немецкие головы...

"Фрейлейн разведчица" на этот раз решила промолчать и лишь сердито нахмурила брови.

В тот же день, может через час после этого разговора, о появлении гестаповцев знал уже Ефим Макогон.

Но черного отряда в Новых Байраках тогда так никто и не видел. Словно офицер в черном с тонкой осиной талией был только призраком, будто он совсем не появлячся на пороге Дитрихова кабинета. А среди немцев и их ближайших друзей прошел слух о том, что из жандармерии вдруг забрали и немедленно отправили в гебит с соблюдением всех правил, как настоящего государственного преступника, заместителя начальника жандармского поста фельдфебеля Гейншке.

В тот же день под вечер к Дитриху всего на одну мин)ту забежал шеф жандармов Бухман. Бледный, испугапгып, он даже не скрывал своего испуга. О чем-то шептался с Дитрпхом, глядя на Яринку тяжелыми оловянно-водянистыми глазами, и у нее было такое впечатление, будто он совсем не видит, даже не замечает ее.

Накануне вечером, сообщил Валерик Нечитайло, в камерах жандармерии и полиции почти до полуночи, не прекращаясь ни на минуту, продолжались допросы арестованных, подвергшихся самым лютым за последний месяц пыткам.

В ту же ночь лейтенант Дитрих Вольф впервые, кажется, за время их знакомства напился, как настоящая свинья. И можно было догадаться, что пил он с Бухманом и Макогоном.

На следующий день, поздно утром, он, все еще пьяный, но, по привычке держась на ногах и почти касаясь носом глухой стены, кому-то невидимому бормотал:

- Пронесет на этот раз или... не пронесет?.. Нет, черт побери!.. Но меня интересует, чья голова, после головы этой свиньи Гейншке, на очереди?.. Неужели?.. - Он дико оглядел комнату, увидел Яринку за столом и будто немного протрезвел. - Раз уже они здесь, - проговорил, обращаясь к девушке, - они промчатся, как самум... Подолгу нигде не задерживаются... Но запомните мои слова, фрейлейн Иринхен, - после них уже ненадолго задержимся здесь и все мы...

Главный удар на этот раз пал на головы властей Новобайракского района.

В тот же день немецкие военнослужащие всего гебита получили секретный приказ-извещение о расстреле заместителя

начальника жандармского поста Новобайракского района фельдфебеля Гейншке за измену рейху и великому фюреру, что проявилось в разглашении важной военной тайны и мягком отношении к подрывным элементам на подчиненной ему территории.

А на следующий день, с самого утра, в Скальном была собрана полиция из пяти районов. Для примера тут же на базарной площади в Скальном, без предварительного ареста и допроса, неожиданно был схвачен и повешен повобайракский начальник полиции Короп "за измену великой Германии и снисходительное отношение к подрывным действиям враждебных элементов".

Логики в обоих приказах было немного. Но страха для тех, кто должен был проявить особое усердие и энергию в борьбе "за великое дело фюрера и великой Германии", больше чем достаточно.

После казни Коропа в гебите во всех прилегающих к "котлу" районах начались массовые облавы, повальные аресты, стали заполняться людьми уже опустевшие к тому времени местные концлагеря. Начались неслыханные до того в этих краях массовые истязания: с востока на запад, навстречу немецким воинским частям, под усиленной охраной солдат, собак и полицаев погнали длинные колонны людей от четырнадцати до шестидесяти лет. Где-то на востоке эсэсовцы перед последующим паническим бегством создавали "зону пустыни", выжигая вокруг все, что смогли, дотла и угоняя на запад все способное к труду местное население.

В колоннах угоняемых, а также помимо них, в селах и городах, всюду, где еще оставались советские люди, расползлись под видом беженцев шпионы, переодетые полицаи и тайные агенты гестапо. Порой выдавая себя за подпольщиков или партизан, выпытывали, подслушивали, провоцировали.

Черный самум прошумел и действительно быстро исчез, оставив после себя беспощадный шквал насилия, угроз, пыток и истязаний над всеми, оставшимися в живых, со стороны местных гитлеровских властей. Шквал, который еще долго поддерживался и раздувался безумным страхом позорной смерти, которая может вернуться в любую минуту в образе офицера-гестаповца с осиной талией, страхом "котла", в котором варились, без всякой надежды на спасение, все новые и новые дивизии, страхом перед каждым местным жителем, которого хватали, за которым охотились, по заранее обдуманным планам, целыми подразделениями.

Шеф жандармского поста Бухман был как туго заведенная пружина, как готовая в любой момент взорваться, снятая с

предохранителя, граната. Никому ничего не доверяя, он брал все на себя и всюду успевал. Даже не назначил нового (после Коропа) начальника полиции.

Бухман сам стал руководить полицией, обращаясь в случае надобности к одному из двух уцелевших жандармов - сержанту Гершелю, который виртуозно матерился, смешивая славянскую ругань с немецкими словами, и владел десятком предложений той языковой смеси, которой вполне хватало для объяснений с местными полицаями.

Да, собственно, в те дни Бухмзну некем было и руководить, так как основной состав полиции целыми днями, а то и неделями находился где-то в облавах.

И только кое-кто из них порой показывался в райцентре с новым "пополнением" арестованных и задержанных, чтобы потом снова надолго исчезнуть. В помещении полиции оставалось трое, иногда - пятеро полицаев для охраны прочно запертых и зарешеченных камер. Их вполне хватало для внутренней охраны. Нападения же со стороны на полицию, находящуюся в центре селения, переполненного и днем и ночью маршевыми войсковыми частями, никто себе и представить не мог.

Две камеры в полиции и одна в жандармерии ежедневно пополнялись новыми жертвами. Арестованных в эти дни и не допрашивали. Разве что в случае особенной необходимости для выявления связей. Однако задержанных по "профилактическим соображениям" систематически истязали, избивая до потери сознания, и обливали ледяной водой прямо в камерах; избивали всех, кто попадал под руку, сколько успевали за время, отведенное на такие экзекуции.

Со всем этим управлялся сам Бухман с помощью дв"х своих жандармов и нескольких особенно лютых, которым уже море крови было по колено, убийц-полицаев.

Худенький и щупленький Валерик Нечитайло, подчас издали наблюдая за экзекуцией, бледнел и каждый раз приходил в ужас при мысли, что не выдержит, а то, теряя рассудок, и сам бросится на палачей. Пока спасало его только то (правда, не радуя ни Макогона, ни Яринку), что его, как неопытного и непроверенного, в большинстве случаев ставили на наружные посты - у мостика через речку или в караулке самой полиции в паре с кем-нибудь из старших.

Еще совсем юный, мягкий характером, не задиристый комсомолец, подвернувшийся под руку Макогону в нужный момент, он, как и Яринка, чуть не плакал, готовый идти куда угодно, хоть на верную смерть, только бы не в полицию.

Теперь, встречаясь иногда с Яринкой на улице, на ступеньках комендатуры или на крыльце полиции, Валерик откровенно жаловался девушке:

- Жду не дождусь, когда это для меня хоть как-то кончится... Боюсь... Если будут посылать дежурить к камерам, просто не выдержу. О, ты себе и представить не можешь!.. Даже и подумать страшно, что это такое - дежурить возле камер...

А Дитрих за те несколько дней, как был уничтожен Гейншке и повешен Короп, - хотя и его иногда привлекали к "делам", а то и посылали на довольно опасные операции "местного значения" - словно ожил. С его лица сошла серая бледность, что не сходила с него и после того, как черный самум перекинулся в другие районы. К нему даже вернулся его мрачный юмор. Как-то он снова усмехнулся, правда, довольно кисло, и попытался по-прежнему подшутить над Яринкой:

- Слушайте, фрейлейн Иринхен, если вы не разведчица, то неужели же вы в самом деле не побоялись в такое время пойти ко мне на службу?

- Не понимаю? - уже совсем не боясь его и даже не уважая как воина и офицера, спросила Яринка.

- Ну, как же... До вас ликвидировали и убрали от меня двух переводчиков. И я уверен, что все это не так просто, что это - дело рук ваших подпольщиков...

- Я об это?"! и не подумала, - пожала плечами Яринка. - В самом деле?.. Вы так думаете? - переспросила она с притворной наивностью.

- В самом деле...

- Все равно я не боюсь... Мне все это как-то... безразлично.

- О-о-о! Фрейлейн Иринхен такая смелая? Или, может, такая

пессимистка?

- Ни то, ни другое... Скорее, фаталистка.

- Вы не верите в свою смерть? Или вас поддерживает какая-то ненависть, какая-то... как бы это сказать...

идея?..

- Возможно, что и то и другое...

- А все же... Если вы не разведчица, то что же на самом деле привело вас сюда? Вы разделяете хоть немного то, что называют идеями нацизма, или?..

- Они мне безразличны.

- Тогда просто нелюбовь или ненависть к большевикам?..

- Не могу этого сказать... Ведь я воспитывалась у них, среди простых крестьян, и польской помещицей себя никогда не чувствовала и не чувствую... Еще не успела почувствовать. Просто надо как-то жить, что-то делать. А у вас нашлось место...

Дитрих умолк, задумался, то ли поверив, то ли обдумывая сказанное. Потом, казалось, забыл об этом разговоре и вдруг снова возвратился к нему.

- А вы... вот вы сами верите сегодня, сейчас, в нашу победу?.. - Его все больше и больше интересовали именно такие вопросы. - Как вы смотрите на это?

- А я не генерал, не политик и не стратег, - уклончиво ответила девушка.

- Вы очень хитрый политик, фрейлейн Иринхен, - погрозил пальцем комендант. - Можете меня не бояться.

Я хочу знать, что вы по этому поводу думаете на самом деле...

- А я просто не хочу думать о таких вещах. Об этом больше надо вам думать. Я обычная женщина. Какой из женщины может быть воин или политик?.. Войны ведут и, кстати, отвечают за них мужчины.

- О-о-о! Я не ошибся! Вы - хитрая девушка. И - все больше и больше убеждаюсь в этом - смелая девушка! И все тверже склоняюсь к мысли, что если вы случайно и не разведчица, то... подпольщица уж наверняка... Вы все тут - подпольщики, разведчики, партизаны, как говорит Бухман... Так вот, несмотря на вашу смелость, советую, однако, вам быть более осторожной.

- Спасибо, - равнодушно, иронически поблагодарила Яринка, внутренне похолодев. - Ваша воля. Думать человеку не может запретить никто и никогда... Так вот, что хотите, то и думайте...

Яринка оборвала разговор. Дитрих снова долго молчал, потом зевнул, заговорил уже будто сам с собой:

- А этих... подпольщиков и даже вооруженных партизан вылавливают и привозят сюда все больше и больше... И наших...

не говоря о полицаях, в этих мелких стычках только за последнюю неделю погибло семнадцать немцев. Это - полвзвода, пани Иринхен.

События развивались с нарастающей стремительностью. Все на сотни километров вокруг жили одним событием, подчас не зная не только его подробностей, но даже общих очертаний, жили великой Корсуньской битвой и так или иначе (каждый лагерь по-своему) ориентировались на нее.

Сапожников предупредил своих разведчиков - надо быть сейчас особенно осторожными и особенно бдительными. Однако работа из-за этого не должна приостанавливаться. Наоборот, разведка должна сейчас действовать еще интенсивнее, хотя и во сто крат осмотрительней.

Людей арестовывали, везли, вели, гнали и волокли, заполняя тюрьмы в окружающих районах. И тюрьмы в конце концов всюду, как и в Новых Байраках, переполнились так, что теперь бросали туда лишь самых опасных для рейха врагов. Всех других загоняли за проволоку опустевших в то время концлагерей, сохранившихся с сорок первого года.

Больше стало прибывать колонн изгоняемого населения с востока. Теперь гнали людей из Приднепровья, ибо все Левобережье уже было освобождено. Одновременно или вперемежку с этими колоннами потянулись на запад остатки разбитых немецких частей, какие-то тыловые эвакуирующиеся учреждения, санчасти и толпы легко раненных немецких солдат, которые, не найдя места в машинах, увязавших в грязи, пробивались на запад пешком.

Поток немецких войск на восток с какого-то времени начал мелеть, словно пересыхал. Новых, свежих частей, которые бы спешили на восток, с каждым днем становилось все меньше.

Первым из известного Ярьнке и ближайшего к ней подполья еще в начале большой облавы попал в руки гитлеровцев Иван Бойко. Он уже более двух лет жил на полулегальном положении, превращаясь из подпольщика в партизана лишь в случае особой необходимости.

Его захватили в короткой стычке под Балабановкой.

Тяжело раненного. Вынести его из боя товарищам не удалось. И он, беспомощный, истекающий кровью, попал во вражеские руки. Его бросили в грузовую машину и отвезли не в Подлесное и не в Терногородку, а почему-то в скальновскую полицию.

Позднее Валерик Нечитайло услыхал от полицаев и передал Яринке, что в той машине вместе с немцами, захватившими Бойко, был и ее бывший соученик, а теперь начальник скальновской полиции Дуська Фойгель.

В том же балабановском бою был убит руководитель терногородской группы "Молния" Роман Шульга. Труп его привезли в Терногородку и бросили на страх всему селу посреди улицы, напротив концлагеря, в котором и сидит сейчас Яринка...

В те же дни, несколько позже, арестовали в Терногородке и двух совсем молоденьких участниц подполья, бывших учениц-Клаву Тараненко и Мотю Полотай.

Сначала их держали в Терногородке, потом по каким-то своим соображениям перевели в Новые Байраки.

Мотя и Клава попали в женскую камеру полиции и сидели теперь как раз напротив комендатуры. Яринка через Валерика знала почти все о девушках: и как они чувствуют себя в тюрьме, чего от них добиваются на допросах, и вообще все, что девушки могли передать через "своего полицая".

И жандармерия, и полиция требовали на допросах сведений о руководителях и командирах "Молнии", о подпольной типографии, о разведывательно-десантной группе, о советском капитане с рацией. Добивались узнать его фамилию, потому что фамилии капитана Сапожннкова, как оказалось, они не знали. Хотя и знали хорошо, чего хотят, кого разыскивают и ловят.

Мотю и Клаву в полиции, наверное, считали молодыми, еше неопытными, только начавшими распространять листовки подпольщицами. Поэтому били сравнительно редко, почти ни разу не подвергая настоящему допросу.

Обе камеры в полиции (так же, как, очевидно, и в жандармерии) были уже до предела переполнены измордованными людьми. Не было возможности лечь на полу, и люди сидели, тесно прижавшись друг к другу. А полицаи и немцы ходили, ступали прямо по людям, били по голове, по лицу, старались попасть в самые уязвимые места косками тяжелых сапог. Однако подпольщики как будто держались все, и держались стойко, надеясь на скорую ликвидацию Корсуньского "котла", быстрое наступление наших войск и освобождение.

Уже в последние дни в женской камере появилась новая, невысокая, полногрудая девушка, скорее женщина, которую били не только в камере, но и по нескольку раз в сутки водили на допросы, подвергая особенно тяжелым истязаниям. В камеру ее бросали уже без сознания.

И женщины, обтирая кровь на ней, переодевали в свое сухое, согревали и приводили в сознание. Случилось так, что больше других она привязалась к Моте и Клаве и не скрывала от них, что от нее добиваются сведений о группе капитана десантников и что она им ничего не сказала и никогда не скажет. Вероятно, Александра (так звали эту женщину) и в самом деле что-то знала,

иначе жандармы не выделяли бы ее так среди других.

С каждым днем Александра слабела все больше. На каждом допросе ее пытали, замучивали чуть не до смерти. И однажды- девушки рассказали об этом Валерику, а Валерик немедля Яринке, - придя в сознание после допроса через несколько часов, она обвела камеру помутневшими, полубезумными глазами и, узнав Мотю, чуть слышно прошептала:

- Если бы... Если бы кто мог передать... отсюда...

Может, есть какая возможность... Может, нас как-то спасли бы... А то... А то... Чувствую... Боюсь... еще один, другой... такой допрос, и я... Я могу не выдержать...

Макогон приказал дать понять Александре, что ее услышали, что слова ее переданы. Что "Сорок четвертый" (вероятно, так звали кого-то из руководителей)

приказывает ей держаться до последнего, а он сам уже принимает необходимые меры.

И именно в тот день, когда ей это передали, в разных местах было получено два приказа.

Первый из гебита жандармерии в комендатуре: подготовить все необходимое к немедленной эвакуации и ждать особого распоряжения, не снимаясь с места без разрешения (за это - расстрел!) и не уничтожая (также до особого распоряжения) известных им объектов, которые не поддаются вывозу или перегону, ценностей и лиц.

Второй из штаба фронта Советской Армии капитану Сапожникову: свернуть работу в данном районе, передвигаться далее на запад, подтвердить получение приказа.

Кроме того, к вечеру в тот же день случилось еще два события разных масштабов, но одинаково важных для Яринки. В районах Подлесном, Терногородке, Новых Байраках и Скальновском началась уже последняя, наверное, большая облава с участием войсковых подразделений. И не только с целью поисков советских разведчиков, но и ради основательной расчистки пути для отступления остатков уцелевших "освободителей" Корсуньского "котла", в котором пускали уже последние пузыри, идя на дно, разрозненные группы когда-то больших и сильных немецких дивизии. Началась облава (по крайней мере, по Яринкиным наблюдениям, в Новых Байраках) в полдень. А к вечеру Макогон сообщил, что она освобождается от сбора разведывательных данных и поступает в полное его, Макогона, распоряжение для участия в освобождении арестованных из Новобайракской тюрьмы и спасения их от поголовного истребления ввиду неминуемого в ближайшие дни общего немецкого отступления.

Операция была назначена в ночь с понедельника на вторник. Надо было вообще поторопиться, да и обстановка складывалась к тому времени благоприятная. За день перед этим в районе Скального партизаны подорвали военный эшелон, и почти всю новобайракскую полицию и жандармерию бросили туда на расчистку пути и усиление облавы.

В райцентре из постоянной немецкой администрации осталось всего два гитлеровца: Дитрих Вольф и шеф жандармского поста Бухман. При них - всего какой-то десяток полицаев, кроме случайных проезжих частей, которые иногда останавливались в местечке на отдых всего на два-три часа.

Пять или шесть полицаев, находясь в личном распоряжении Бухмана, почти не отходили от помещения жандармерии. Еще пятеро под командой особо доверенного у жандармов толстяка из беглых днепропетровских полицаев Ковтуна, по прозвищу "Рыжая Смерть", дежурили в полиции. Ковтун, уже пожилой Сергей Нудлик и Валерик Нечитайло несли службу в самом помещении, а двое других должны были осуществлять наружную охрану.

Валерик Нечитайло получил на ту ночь от подпольщиков совсем, казалось, несложное задание: не спускать глаз, каждую минуту знать, у кого и где хранятся ключи от камер, и в нужный момент, около полуночи, впустить в помещение полиции переводчицу коменданта Вольфа - Яринку Калиновскую.

Операция должна была осуществляться тихо, по возможности не привлекая к себе внимания. И многое в ее успехе зависело от Яринкиной находчивости и решительности.

Макогон, зайдя в воскресенье в комендатуру, так напутствовал девушку:

- Ну вот... Считай, что служба твоя у Вольфа закончилась. Поработала ты хорошо, и волк тебя не съел...

Кончится счастливо операция, и можешь плюнуть на своего коменданта, даже не прощаясь. Точного времени для начала операции не назначаем. Приблизительно только - где-то после двенадцати ночи. Однако сигналом для ее начала будет твое появление у дверей полиции. Вообще ты будешь действовать так: с самого утра в понедельник ни на мгновение не спускай глаз с полиции. Да и вообще - с улицы. Следи за всем, что там будет происходить, и запоминай. В течение дня раза три позвони в полицию и раза три побывай там. Придумай, что удобнее будет, лишь бы тебя там видели, слыхали и, так сказать, привыкли к твоему появлению у них. Потом, когда стемнеет, Дитрих твой из комендатуры исчезнет.

(Я уж об этом позабочусь.) Выждав несколько минут.

снова позвони полицаям, спроси, нет ли там Дитриха,

которого будто кто-то разыскивает. Они, разумеется, ничего не будут знать. Но ты на это не обращай внимания и через какое-то время снова запрашивай: мол, разыскивают коменданта из гебита, спать не дают, звонят и звонят.

Дитрих, если не случится чего-то непредвиденного, возвратится домой около полуночи и такой пьяный, что и на ногах не будет держаться. И тогда ты, уже заранее собравшись в дорогу, позвонишь в полицию в последний раз: "Возвратился, мол, мой комендант. Был, говорит, где-то в Подлесном, напился там и привез вам или Бухману какое-то важное письмо от тамошнего жандарма Мюллера... Сейчас я прибегу к вам и передам..." Потом, бросив пьяного шефа, который ничего из того разговора по телефону не поймет, перейдешь улицу и, если случайно теЗе откроет не Валерик, во что бы то ни стало сделан так, чтобы тебя впустили в помещение. Это - самое главное. И с твоей стороны - все... Хлопцы ворвутся за тобой в полицию так, что и словом не успеешь ни с кем перебросится... С той минуты ты уже свободна. И тогда как можно быстрее пробивайся к "Раздолью". Вот и все... А там тебя уже будут ждать... - Макогон помолчал, подумал, не забыл ли чего, и добавил: - Ну вот... счастья тебе, дочка!.. Как говорят, не поминай лихом, а я тем временем побежал!.. До встречи в новой обстановке!..

Осуществлялся план с какой-то невероятной, заранее предусмотренной и, если не учитывать трагических обстоятельств, которые знала и переживала одна лишь Яринка, страшной последовательностью.

Прохладный, солнечный, почти весенний день начался для Яринки предчувствием нового поворота в жизни, ощущением долгожданной акции, которая не пугала, а лишь подбадривала девушку своим острым напряжением. Именно такая работа была ближе ее характеру и ее боевым, если можно так сказать, наклонностям, чем будничный подсчет машин, колонн войск и (временами казалось) почти беспечная, почти не связанная с риском разведка.

Куда-то исчезал, а потом снова возвращался Дитрих.

Она уже успела дважды созвониться с Валериком и один раз сбегать в полицию, о чем-то там спросила, будто бы от имени коменданта, у Рыжей Смерти...

После обеда Дитрих поехал с Гулей, и Гуля в тот день в комендатуру больше не вернулся. Где-то около трех часов Яринка снова решила позвонить в полицию и на этот раз поговорила с Валериком. Валерик переспросил и, удостоверившись, точно ли она, Яринка, это говорит, сказал, что коменданта у них не было и что если он появится, то Валерик скажет ему или позвонит ей. И

что у них все по-старому. Рыжая Смерть спит в канцелярии полиции на диване, а они с Нудликом режутся в "дурака".

Через каких-то полчаса Яринка решила снова сходить в полицию. Набросив внакидку на плечи шубку, простучав каблучками по цементным ступенькам комендатуры, она побежала через улицу, стараясь пройти по сухому и обходя глубокие, мутные, выбитые колесами машин колдобины.

День был теплый, словно в апреле. Земля, деревья, крыши домов вокруг черные и голые. А небо - чистое, синее, лишь кое-где расцвеченное сиреневыми пятнами облачков. За речкой над темными холмами низко висело красное, все еще слепящее солнце, разливая по синеве неба малиновый сок вечерней зари.

Двери в полицию были открыты. Доски на крыльце - чистые, высушенные солнцем, как будто летом. Затем - темные, пустые сенцы, за ними - дежурка: голые, исцарапанные стены, два окна, ряд винтовок у стены в деревянной "пирамидке", изрезанный глубокими ровиками - следами острых ножей старенький письменный стол, а слева - узенькие, раскрытые дверцы в канцелярию.

В канцелярии такой же стол, черный продавленный диван, телефон и тяжелый - чугунный или стальной - зеленый сундук в углу, два покосившихся фанерных шкафа.

Яринка знала: помещение полиции похоже на букву "Г" и поставлено к улице более длинной стороной. Посредине длинной стороны - крыльцо и сени, слева - дежурка и канцелярия, справа - кабинет начальника и комната следователей. Короткая сторона помещения примыкает к заросшему дерезой, бурьяном и давно уже не паханному огородику, спускавшемуся в вырубленные левады над пересохшей речушкой, или, точнее, ручейком.

(За речушкой снова огороды, холм и кривая линия сельской улицы.) И в той короткой стороне, глухой, без окон, только с маленькими зарешеченными просветами, с тяжелой дверью в темный узенький коридорчик, - две камеры, мужская и женская. В коридорчике - две двери.

Одна - узкая - в комнату следователей, а еще уже накрест окованная железными шинами - во двор...

Забежав в дежурку, Яринка сегодня уже второй раз поздоровалась, крутнулась на высоких каблучках и пожаловалась, что весь день ей нет покоя, просто житья не дают, что Дитрих пропал, как сквозь землю провалился, а телефон прямо разрывается. Звонят и звонят из гебита.

Яринка без умолку щебетала, лишь бы щебетать, приучала их к себе. И они (и не только сегодня) действительно к ней уже привыкли. Нудлик с Валериком, так и не поднимая головы,

хлопали по зеленой, вернее черной от грязи и чернил, поверхности стола разбухшими, как вареники, замусоленными картами. А Рыжая Смерть, только что проснувшись в соседней комнате на скрипучем диване, чесал рукой заросшую густыми волосами раскрытую грудь и многозначительно скалил, глядя на девушку, прокуренные зубы.

- Бегай, бегай, - зевая, процедил он, - за своим Дитрихо-ом!.. Если того... Если еще не набегала...

Скривив рот, он снова широко и сладко зевнул. Яринка бросила на него сердитый взгляд, пожала плечами, тихонько сплюнула. Снова крутнувшись на каблучках, выбежала через темные сени на сухое, нагретое солнцем крыльцо и... остановилась, ослепленная лучами низкого солнца и еще тем, что она увидела, но во что поверить не могла: таким это было невероятным и страшным.

Перед ней, у самых ступенек крыльца, зеленая, забрызганная жидкой грязью стена тяжелого грузовика с откинутым задним бортом. В кузове во весь рост - два полицая с винтовками. Внизу, у откинутого борта, еще два полицая. А из кабины, хлопнув дверцей, выскочил жандармский шеф Бухман. В два прыжка он очутился на крыльце, толкнул Яринку локтем и стал рядом в дверях. Яринка пошатнулась, машинально переступила с ноги на ногу и, натолкнувшись на перила крыльца, словно завороженная, прикипела к ним немая и неподвижная.

Стояла как лунатик, смотрела перед собой широко раскрытыми глазами, веря и не веря тому, что видит.

Возле откинутого борта, на нижней ступеньке крыльца, перед Яринкой стояла, глядя на нее большими глазами на бледном худеньком личике, Настя-радистка.

В обшитых черной кожей, еще Яринкиной мамы, валенках на босу ногу, простоволосая - прямые пряди рыжеватых косичек заплетены кое-как, - в накинутом на плечи стареньком, потертом кожушке. Этот кожушок был у них всегда под рукой, когда требовалось сделать более грязную работу, и висел на гвозде в сенях возле дверей.

Взгляды их встретились на одно мгновение и сразу же разошлись.

Жандармский шеф крикнул что-то резкое, злое, один из полицаев выпрыгнул из машины прямо на крыльцо, толкнул Настю кулаком в спину, и она, пошатнувшись и еле удержавшись на ногах, поплелась мимо Бухмана к дверям.

Другие полицаи - один в кузове, а двое на земле - что-то или кого-то потащили из машины через открытый борт. Сначала показались ноги в стареньких сапогах, со сбитыми каблуками и

порыжелыми, очень знакомыми голенищами, потом зеленые выцветшие солдатские штаны, короткий белый кожушок с распахнутыми полами и заломленные назад руки.

Сбросив с машины человека, не подававшего никаких признаков жизни, на влажную землю, полицаи за руку и за ногу потащили его по ступенькам на крыльцо. Одна рука человека болталась, глухо стукаясь о ступеньки.

И точно так же болталась на поле задравшегося вверх кожуха, глухо стучала о ступеньки непокрытая голова.

Голова в поредевших, с залысинами на лбу волосах.

Морщинистое, привыкшее к ветрам и солнцу и залитое кровью лицо, реденькие окровавленные усы.

Мертво стукаясь о ступеньки крыльца, голова, словно это было во сне, проплыла всего на один шаг от Яринкиных ног... Окровавленная, родная, страшная, милая голова... Голова ее отца!..

Глухо, едва слышно простучала и исчезла.

И все исчезло... Полицаи, Бухман, Настя... Даже машина отъехала так, что Яринка и не заметила. Стало пусто рядом, словно ничего и не было. Только красноватые солнечные лучи, отражаясь в лужах посреди улицы, слепили глаза, а за спиной тянуло (только в этот миг Яринка почувствовала!) ледяным холодом.

Она долго стояла, как слепая, смотрела, ничего не видя, застыв на месте, убитая и потрясенная. Стояла, не понимая, что с ней происходит, еще не веря: видела ли она все это на самом деле, или ей только показалось?..

Может, это... Может, это все еще мерещатся кошмарные видения, которые теперь временами одолевают ее по ночам?..

Где-то застучал, загрохотал мотор, вывел ее из немой пустоты, из глухого забытья. Померцав, вдруг выплыла перед ней черная колдобина, затем она увидела черный ствол кривой акации и высокие цементые ступеньки комендатуры.

Яринка, не отрывая ног от ступенек, как-то всем корпусом, головой вниз, будто в воду, ринулась с крыльца.

Действительно ли видела... Или?.. Все равно - скорее, скорее отсюда, хоть и неизвестно куда и зачем... Все равно - скорее, бегом, как-то помочь, хоть и не знает, как именно!.. К счастью, ноги ее наконец-то распрямились, поддержали падавшее тело, и она, слетев со ступенек, побежала по улице назад к комендатуре, уже не выбирая дороги, прямо через глубокие колдобины и лужи.

Ни посоветоваться, ни поделиться с кем-то, ни тем более позвонить Валерику в полицию, когда там буйствует Бухман (может, именно в эту минуту он приказывает полицаю привести к

нему и ее, Яринку), нечего было и думать.

А что, если он и в самом деле пошлет за ней? И ее посадят? И она - если ей не привиделось, если она и вправду видела все это - ничем не сможет помочь ни им (она даже боялась подумать: отцу, Насте), ни в операции сегодня ночью? Может, лучше, пока еще есть время, бежать?.. Но куда и зачем? Ведь впереди эта ночь!

И она, Яринка, им будет нужна. Теперь особенно нужна... "Нет, лучше ждать здесь, - решила девушка, чувствуя под локтем во внутреннем кармане шубки твердость Грицькова пистолета. - Ждать и следить... И действовать только в случае, если..."

Все еще ошеломленная, убитая, она, почти не видя, зашла за стол, села у окна, уставившись взглядом на опустевшее крыльцо полиции. Ждала неизвестно чего.

В голове роились мысли, несбыточные, безжизненные, как сухая осенняя трава. Реальные и совсем нереальные, расплывчатые, размытые, как дождевая вода на стекле.

Мысли кружились вокруг того, что видела, или того, что мерещилось, далекие от всего этого, посторонние... Все время напоминали ей, как тиканье часов, что она ежеминутно, ежечасно должна делать, какие четкие и ясные задания должна выполнить сегодня, напоминали, какието еще детские видения, когда она была еще совсем маленькой. Школа... Дедушка Нестор... Труба Скальновского сахарного завода... Девушки... Галя Очеретная...

Черное, распростертое крыло вороны, еще живой, но уже полумертвой птицы. Фойгель... Дуська Фойгель - худощавый, злой, белоглазый парень, который все время преследовал ее и - она теперь уже знает - наводит страх во всем районе не только на взрослых, но и на детей. Жандармский палач... Начальник скальновской полиции...

Где-то там, уже вне ее мысли и сознания, в далеком и бездушном мире, заходило (потом, наверное, и зашло) солнце. Воздух за окном окутан холодной, прозрачной синевой. Стекла в окне совсем запотели. Она механически протерла одно и сидела, перебирая свои несбыточные мысли-видения, почти не ощущая ни себя, ни своего тела, ни своего существования и вместе с тем четко, выразительно помня, ни на миг не забывая, какой сегодня день и что и когда ей надо делать.

Никто за ней никого не посылал и никто не приходил.

Вероятно, того (если ей не привиделось) с ней еще вовсе не связывали. Ни то го... ни... их...

И когда уже совсем стемнело, с крыльца полиции сошел Бухман. (Выходит, было!..) А за ним несколько - двое, трое, четверо? - полицаев. Минуту постояли на крыльце, о чем-то разговаривая. Бухман закурил папиросу. Полицаи при нем

закуривать не осмеливались. Постояли и все вместе исчезли в боковом переулке. Пошли в сторону жандармерии, а может, куда-нибудь еще.

Значит, за ней еще не идут. И хотя то, что она видела, не сон, она должна ждать. Должна действовать и делать все, что ей приказано. Потому что, кроме всего, только это одно - если они еще живы - может спасти также и их...

Никто - ни Дитрих, ни Гуля - так и не появились.

И, вероятно, не скоро еще и появятся.

Она неторопливо сняла трубку и позвонила в полицию. Отозвался высокий, по-юношески звонкий и как бы немного испуганный голос Валерика:

- Слушаю!..

- Ну что? Моего шефа у вас так и не было?

- Нет, - ответил Валерик и, по-видимому не найдя больше слов, молчал и часто дышал в трубку.

- Беда мне с ним. Разыскиваю целый день, - ледяным голосом сказала Яринка, и, как ни хотелось ей услышать от Валерика хотя бы одно слово еще и о и их, она даже не намекнула на это. Можно было бы спросить...

так, между прочим: кого это к вам еще привезли? Не отважилась и тихо положила трубку.

В комнате быстро стемнело. Пистолет оттягивал левый борт шубки, и она сползала с плеч. Кухарка, приоткрыв дверь, спросила, не будет ли Яринка ужинать. Она отказалась, тетя Христя, закрывая дверь, глубоко вздохнула. Яринка продолжала сидеть молча в темноте, у черного окна.

Так, молча, в темноте, просидела Яринка весь долгийпредолгий, как ей казалось, самый долгий в ее жизни, вечер.

Она сидела и только иногда, пока окно еще серело, прижималась к стеклу и поглядывала на часы. И то, что и как постепенно менялось вокруг нее в большом мире, она запоминала как-то со стороны, невнимательно и механически. Но все почему-то так глубоко врезалось в память, что казалось, останется там уже навсегда, сколько бы она ни жила. Час, сутки, неделю или десятки и десятки лет...

Солнце зашло где-то после шести.

В седьмом за окнами застыла густая, с фиалковым оттенком синева. Только над контурами холмов по ту сторону села, над горизонтом, небо еще некоторое время казалось зеленоватым.

В восьмом она еще раз, уже предпоследний, позвонила в полицию и спросила о Дитрихе. Тогда уже на притихшее село бесшумно опустилась непроглядная февральская, но уже по-

апрельски теплая и звездная ночь.

Тишина, впервые за несколько месяцев, была такой глубокой, такой необычной, что случайно попавший сюда человек и не подумал бы, что еще сегодня утром в этом черном провале улицы грохотали танки, проплывали потоки машин, стонали раненые, раздавались выстрелы, - одним словом, клокотала война, - и что где-то рядом, совсем близко, в нескольких десятках километров, доходил, докипал, истекая кровью, окончательно и безнадежно, уже не первый, но и не последний, стянутый тугим стальным обручем советских войск, немецкий "котел".

Тишина и мрак поглотили одинокую девушку, и она будто растворилась в них, неподвижно оцепенев у окна, пропуская через себя в какой-то полуфантасмагоричности реальные и нереальные, почти бредовые мысли-видения. Они наплывали на нее клокочущими, то холодными, а то удушливо-горячими волнами, казалось, независимо от ее желания и воли, хотя нисколько не мешали главному - ждать. Ждать Дитриха и ждать главного, что, должно случиться в этот вечер и что должно начаться с ее появлением,словно по сигналу.

Возможно, она дремала, отдаваясь течению тех причудливых дум-видений, временами вздрагивая, отгоняла от себя зеленый грузовик с задним откинутым бортом и то, что видела, хотя до конца, всем сердцем так и не верила в случившееся. Пожалуй, и в самом деле дремала, ибо не заметила, когда напротив, через улицу, из-за неплотно прикрытой ставни, пробился и упал, задрожав в лужах, луч желтого слабенького света. Значит, там не спали. По крайней мере, кто-то не спая. "Позвонить еще раз? Или хватит?.." Она хотела посмотреть на часы, но не смогла пересилить себя, подняться и зажечь свет...

К тому же надо было опустить темную штору. А ей все это сейчас было совсем безразлично и не нужно. И то, который теперь час, в сущности, тоже не имело значения.

Ведь главное начнется тогда, когда возвратится он. А позвонить еще раз, если надо, можно и позже, когда потребуется последний, решающий звонок.

Неожиданный, тяжелый топот кованых сапог по ступенькам застиг ее врасплох, словно разбудил. Девушка встрепенулась, кровь бросилась в лицо и залила щеки.

В первое мгновение показалось, что по ступенькам вверх поднимается по крайней мере целое отделение солдат в кованых сапогах. И Яринка, на какой-то миг забыв, где она и что с ней, не зная, который теперь час, порывисто вскочила на ноги, почувствовав, как бешено застучало, быстро-быстро забилось сердце. "Тише! Спокойно!" - уже стоя на ногах, очнувшись,

приказала себе Яринка, невольно вспомнив самое главное правило конспиратора: прежде всего в напряженный момент быть спокойной.

И сердце действительно постепенно начало успокаиваться.

Когда грохот из общего коридора ворвался в узенький коридорчик комендатуры, Яринка, успокаиваясь, поняла, что он - один. Один, но идет "по трем дорогам", такой пьяный, что и ноги его не несут. Сильное волнение, помимо ее воли, переходит в сдержанную напряженность всего существа. Она готова к встрече, к действию.

Всегда имея под рукой зажигалку, Яринка рассчитанным движением руки зажгла большую керосиновую лампу. Потом, так и не сбросив шубки, вскочила на стул и, разматывая, опустила на окно бумажную непроницаемочерную тяжелую штору. И когда соскочила со стула, стала спиной к окну, он уже стоял в дверях, в расстегнутой шинели, со сбитой на ухо, испачканной грязью новой фуражкой, в грязных сапогах. Стоял, пошатываясь на неустойчивых ногах, совершенно пьяный, бледный, с широко раскрытыми и все же будто слепыми глазами. Напряженно всматривался во что-то впереди себя, ничего, вероятно, из темноты на свету не различая. Затем через какое-то мгновение глаза его сузились, и он наконец увидел ее, вытянутую, словно приготовившуюся к прыжку, с порозовевшими от сдерживаемого волнения щеками и блестящими глазами. Увидел и сразу радостно, как-то растерянно, всем бледным лицом усмехнулся.

- О-о-о! - начал он, но Яринка, увидев его состояние, решила не ждать ни минуты, не дала ему закончить и сама перешла в наступление.

- О майн гот! В каком вы виде!.. А вас весь день разыскивают из гебита...

- К черту гебит! - еще шире улыбнулся Дитрих своей полубезумной усмешкой. - Капут гебит!..

Он прикрыл дверь и бросил спадавшую с плеч шинель прямо на пол.

- Меня просили, - продолжала смело Яринка, понимая, что он ничего проверять не будет, а если до чего и додумается, то будет уже поздно, просили, сразу же как только вы вернетесь, - она предупреждающе положила руку на телефон, - позвонить в полицию или к Бухману...

Бухмана Яринка назвала для важности. Ведь она собиралась звонить сама, и он бы все равно не понял, с кем и о чем она разговаривает.

- К черту Бухмана! - вдруг сердито заревел Дитрих. - К черту полицию! И, успокаиваясь, будто выдохнув с тем криком весь

заряд энергии, добавил: - Все пошли к черту!.. Все... Аллес капут... Вы понимаете, аллес капут!

Он сделал три шага и тяжело, всем телом, упал на стул. А она, подыскивая глазами, куда бы отступить, так и стояла, держа руку на телефоне.

- Ал-лес кап-ут, - совсем тихо, будто прислушиваясь к звучанию и смыслу тех двух слов, снова проговорил Дитрих.

Потом тряхнул головой, словно хотел стряхнуть вместе с фуражкой - она упала и покатилась по полу к столу - и непреоборимый хмель, уставился на девушку прищуренными глазами, сосредоточиваясь, что-то припоминая.

И это ему, вероятно, на какое-то мгновение удалось, так как бледное лицо стало суровым и приобрело более или менее осмысленное выражение.

- С-с-советую вам... лучше не трогать... Бухмана...

Бухман тоже... капут и мертвец... Бухман... Бухман... - Он снова потерял свою мысль, еще раз напрягая внимание, качнулся вместе со стулом, вспомнил: - Бухман...

Ты, - вдруг перешел он на "ты". - Ты знаешь, что Бухман интересуется твоей личностью. ("Отец!.. Настя!.." - резко ударило Яринке в голову.) Т-так... твоей личностью... Пришел... пришла, понимаешь... Что-то пришло...

оттуда... как это... Скальное!.. ("Бойко!.. Очеретные!..

Дуська!..") Но... но мне все равно... Я тебе говорю... потому что... Я не наци... Нет, не наци... Бухман!.. Но теперь уже все равно.

Хмель, должно быть, снова залил его мутной волной, и он какое-то мгновение повторял, как испорченная пластинка:

- Все равно... Все равно... Все равно... Теперь уже все равно... Все капут, - произнес он раздельно каждый звук, пронизывая девушку острым, сосредоточенным взглядом. - Гитлер капут! "Котел" - капут... Бухман капут!..

Взгляд его скользнул по Яринкиному лицу, сорвался вниз, в сторону и снова уставился девушке в переносицу. И, сразу вся похолодев, она увидела, как, не прячась и не исчезая, безумно заискрились, заиграли в его глазах те дикие, чувственные огоньки, одолеть, погасить которые он уже не мог и не хотел.

- Все... Все... Аллее капут! - Он рывком вскочил на ноги. - Дойчланд капут!.. Я - капут!.. И ты - капут!..

Аллее капут!.. И теперь уже... все... совсем безразлично!..

Калут!..

Балансируя руками, решительно ступая неустойчивыми ногами, он пошел прямо на Яринку, еще больше бледнея, сковывая безумным блеском глаз и повторяя:

- Все равно... Теперь уже все равно. Аллее капут...

Именно в этой ситуации и в это мгновение она такого не ожидала. Не подумала о таком, но, смертельно перепугавшись, не растерялась и бросила ему под ноги стул. Он споткнулся, видимо, больно ударился коленом, однако не упал. С пьяной прямолинейной хитростью человека, сосредоточенного на одной мысли, на одном желании, он сначала выругался, потом громко захохотал и, вместо того чтобы слепо броситься на нее, уже подготовившуюся и настороженную, неожиданно крутнулся на месте, чуть не упав, бросился к дверям, схватился, чтобы удержаться на ногах, за ручку, повис на ней и так, вися одной рукой, с усилием повернул ключ, вырвал его из дверей и бросил в карман френча. Потом, скользя сапогами по полу, уже не торопясь, все еще бледный как мел, уверенно пошел на нее, усмехаясь пьяно-безумной усмешкой и тихо, совсем шепотом, повторяя:

- Все равно... Аллее капут... Теперь все равно всем капут... Бухман капут... Может, ты разведчица, а может, и нет... Но мне... все равно... Все равно... И ты это должна понять... Слышишь, девушка...

Да... Но ей именно теперь, именно в этот миг было совсем не безразлично, как долго будет продолжаться эта гадкая, эта пьяно-трагическая сцена. Ведь ее уже с нетерпением ждут! Кричать? Пристрелить? Мысли проносились торопливо, стремительно. Но ведь крик, выстрелы могут сорвать операцию... Она снова, бросив ему стул под ноги, прижалась спиной к стене и, схватив руками тяжелое мраморное пресс-папье, приготовилась отбиваться молча, решительно и отчаянно.

Теперь стул свалил Дитриха с ног, но ударить пресспапье по голове она так и не успела. Зато он сумел, падая, с хохотом схватить и потянуть ее за ногу.

Яринка упала, больно ударилась боком об угол стола, шубка сползла с плеч. Услыхала глухой стук тяжелого пистолета об пол, но ничего сообразить не успела. Сразу же, молниеносно поднялась. Но на ногах был уже и он...

Крепко сжав зубы, Яринка отбивалась руками. И хотя Дитрих был пьян и ноги его неустойчиво скользили по полу, какая-то дикая, прямо железная сила чувствовалась в его твердых и цепких руках. Он во что бы то ни стало пытался схватить ее за руки, обнять, стиснуть. А она упрямо отбивалась... Ей повезло. Упершись руками в грудь Дитриха, собрав все силы, отбросила его далеко от себя, но в то же время выпустила из рук пресс-папье.

Дитрих покачнулся назад, сбалансировал и, пока она

нагнулась за пресс-папье, с дикой ловкостью бросился на нее. Выпрямляясь, Яринка больно ударила его головой в подбородок. Он сдержанно застонал, упал на колени и сразу (она не подготовилась к этому) обхватил ее ноги своими железными, как клещи, руками и потянул на себя.

Яринка рванулась назад, поскользнувшись, упала навзничь, ударилась затылком обо что-то твердое. Боль, от которой потемнело в глазах, сразу окутала ее мраком, и на какое-то мгновение Яринка потеряла сознание.

Сознание возвращалось быстро, молниеносными рывками-сполохами: пронзительным, далеким звоном в ушах, острой болью в висках, чем-то твердым, неудобно жавшим под левой лопаткой. И еще - руки... Крепкие, хищные руки, ледяным холодом обжигая тело, нетерпеливо рвали на ней одежду. И оттого - чувство омерзения, удушающий страх и злость.

Не успев и подумать, она инстинктивно уперлась обеими руками во что-то каменное, неподатливо-тяжелое (грудь? лицо?!) и отчаянно, изо всех сил рванулась. Острая вспышка невыносимой боли в голове ослепила и снова затуманила сознание. А затем - слабость, страшное чувство полного, отвратительного бессилия. И холодная, ужасная своей беспомощностью мысль: "Ну вот... теперь в самом деле конец..."

Мысль об этом сразу вызвала новый приступ отчаяния и гнева. Ненавидя свое бессилие, она отрывала его руки, царапала его, а он снова ломал ее, дышал в лицо смрадом водочного и табачного перегара.

- Все равно не уйдешь... Ка-апут... Слышишь? Аллее ка-апут.

В тяжком, удушливом чаду, теряя остатки сил, она всем существом яростно защищалась. Нет!.. Ни за что!

Пусть лучше смерть!.. Только не это... Нет!

Отталкивая его голову, изворачиваясь, она почувствовала, как что-то жесткое остро врезалось ей под левую лопатку. И сразу притихла. Совсем, как ему могло показаться, обессилела, сникла... Рука ее упала на пол и потянулась за плечо... "Нет!.. - забилась в ней радостная надежда. Овчарка?.. Нет! Уже нигде и никому ты не скажешь этого слова! И обо мне тоже никогда!"

Она не ошиблась. Рука нащупала твердый спасительный холод металла.

Он, наверное, ничего не успел понять.

Достав из кармана шубки пистолет, Яринка наугад ткнула им Дитриху в бок...

Выстрел раздался глухо, почти неслышно, так, словно кто-то недалеко сломал сухую ветку...

Потом, пройдя несколько шагов дрожащими ногами, не

удержалась и упала на диван, откинув голову. Лежала растерзанная, не выпуская пистолета из руки, уставившись в потолок безумным взглядом широко раскрытых, помутневших глаз. Лежала, ощущая всем телом лишь одно - гадкие, которые, казалось, ничем и никогда уже не смыть, следы прикосновений его скользко-холодных рук...

Лежала, пока не превозмогла слабость разбитого тела сялой разума и долга. И затем медленно поднялась на ноги.

Пытаясь не смотреть туда, не оглядываясь, кое-как привела в порядок свою разорванную одежду. Механически пригладила ладонью волосы и, глядя себе под ноги, чтобы ничего иного, кроме клочка пела перед собой, не в-идеть, подошла к окну. Потом подняла и надела в рукава свою шубку. Достала из кармана и натянула на голову синий беретик, быстро, но старательно заправила под него волосы, будто умываясь, провела ладонями обеих рук по лицу. И только после этого подняла пистолет на уровень глаз и дослала новый патрон в патронник.

Это движение словно придало ей решимости, поставило все окружающее на ское место. Яринка, уже ничего не боясь, не остерегаясь, твердо посмотрела прямо туда.

Он распластался на полу лицом вниз. Ей видны были его приподнятые плечи, аккуратно подстриженный затылок и оттопыренное твердым воротником френча побелевшее ухо.

Страха она уже не чувствовала.

Но все же, чтобы не видеть крови, подошла к нему боком, отвернув голову, наклонилась, безошибочно в правом кармане френча нашла ключ. Только потом, выпрямившись и повернувшись к нему спиной, позвонила в полицию.

Там сразу взяли трубку. Отозвался, видно, тот самый Ковтун - Рыжая Смерть.

- Это снова я, Калиновская, - спокойным голосом сказала Яринка. Слушайте, мой шеф только что возвратился... Он пьян, как свинья .. Но у него есть какое-то письмо к пану Бухману или к вам, и он здесь бесится, требует передать его немедленно. Нет, Бухмана беспокоить не буду. Лучше перебегу через улицу. Это, наверное, не так страшно. Пусть только кто-нибудь из вас откроет двери .. Что? Хорошо, хорошо!

Она положила трубку, не оглядываясь, подошла к дверям, отперла их. Подумала, что следовало бы вернуться и погасить свет, но не отважилась. Вышла, старательно заперев за собой дверь кабинета.

Входную дверь с улиды Дитрих оставил незапертой.

Яринка плотно прикрыла ее и вышла на улицу.

В полиции, когда она поднялась на крыльцо, ее, оказалось,

уже ждали.

- Кто там? - спросил в ответ на ее легонький стук а дверь Ковтун. Спросил хриплым, приглушенным голосом, явно настороженно.

- Я, я! - нетерпеливо повторила Яринка.

Открывать ей не торопились. Рыжая Смерть чего-то побаивался и держался осторожно... Стукнул железный крюк, заскрипел ржавый засов, звякнул ключ. Дверь елееле приоткрылась, и в темной щели отверстия Яринка различила белое пятно руки, которая так и не отваживалась отпустить приоткрытую половинку дверей.

- Ты, Калиновская? - еще тише и настороженнее спросил Ковтун.

Ответить ему девушка не успела.

Она ничего не знала, ничего не слышала, когда шла сюда. Не уловила тихих шагов за спиной на крыльце (люди, вероятно, уже стояли там по темным углам по обе стороны дверей и ждали ее). Она услыхала, как вдруг, словно сама собою вырвавшись из Ковтуновой руки, рванулась наружу и ударилась о стену окованная железными листами половинка двери, а сама Яринка, словно сдуло ее ветром, полетела от сильного толчка куда-то вперед и потом в сторону, в темноту. Что-то рухнуло, кто-то отрывисто крикнул и сразу захрипел, кто-то больно наступил ей сапогом на ногу, двое - друг за другом - пробежали мимо Яринки.

- Сюда! Кто-нибудь - сюда! - с удивлением услыхала она из темноты приглушенный детский писк.

Что-то грохнуло, что-то потопталось, тяжело засопело впереди, а потом послышался густой, спокойный голос:

- Все... Можешь светить.

Оказывается, те, что из-за Яринкиной спины неожиданно вырвали дверь из Ковтуновых рук, вытянув сначала себе под ноги и самого Ковтуна, толкнули девушку в сенцы, отбросили в сторону к стене и, врываясь в помещение полиции, сбили с ног.

В помещении перед тем, как Ковтун, поговорив с ней по телефону, подошел к дверям, пожилой Сергей Нудлик дремал на черном диване, а Валерик Нечитайло сидел у стола, на котором горела большая керосиновая лампа...

На стук в дверь хлопец задул, как и было ему приказано заранее, лампу и, от волнения не рассчитав, больно - "даже искры из глаз посыпались!" ударившись бедром об угол стола, бросился на оцепеневшего, ошеломленного такой неожиданностью Нудлика, который даже и не пытался сопротивляться. "Сюда! Кто-нибудь сюда!" - возбужденный и напуганный необычайностью событий, позвал Валерик, и сдавленный голос его и приняла

Яринка за детский писк.

Теперь, при свете лампы, которую дрожащими руками снова зажег Валерик, первым из темноты попал Яринке на глаза он - бледный, напуганный, и вправду он показался ей совсем ребенком. И еще показалось ей сгоряча, что в канцелярии и дежурке полным-полно людей. По крайней мере десятки! Хотя на самом деле было их там пятеро или шестеро.

Приказывал всем и деловито и неторопливо распоряжался всеми кто-то невысокий, широкоплечий, в смушковой с наушниками шапке, в заношенном и жестком, как железо, брезентовом плаще и больших сапогах.

Прямо перед Яринкой на пороге дверей в канцелярию головой к сголу лежал Ковтун Рыжая Смерть. Лежал неподвижно, из-под пряди давно не стриженного яркорыжею чуба на лоб и лицо медленно ползло что-то черное, густое. Дальше, в глубине, освещенное лампой, белело совсем детское личико Валерика - острый, небольшой нос, худые, запавшие щеки. Почему-то непогашенная зажигалка прыгала в его дрожащей руке, наполняя неясными, мелькающими тенями людей все помещение ..

- Валерик, к телефону, - приказал коренастый, в брезентовом дождевике. - Да погаси ты к чертовой матери эту игрушку...

Яринка, зажмурив глаза, переступила через Ковтуна и подошла к столу. На протертом диване лежал связанный бечевками Нудлик, вытаращив на Яринку округлившиеся бельма глаз, которые, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Рот ему забили какой-то грязной тряпкой.

- Ключи! - потребовал коренастый в дождевике и терпеливо, спокойно выслушивал путаные объяснения Валерика о том, что ключи должны быть в зеленом железном сундуке, а ключ от сундука в кармане у Ковтуна.

Ключ искали где-то за спиной Яринки так долго, что, кажется, не выдержал уже и тот, в дождевике:

- Хлопцы, пошевеливайтесь быстрее!

Своим спокойствием он доводил Яринку, на которую никто не обращал внимания, до отчаяния. Она стояла, судорожно сжав кулаки, и мелко дрожала от напряженности и нетерпения.

- Подожди... Ты, хлопче, успокойся, - снова сказал Валерику широкоплечий в дождевике. - Если вдруг позвонят - отвечай так, словно здесь ничего не произошло.

А ты, Микола, если будут рваться в двери, расспрашивай, кто да что, и... тогда впускай. Ну? - обратился он снова к тому, кто где-то там, за спиной у Яринки, искал ключ в Ковтуновых карманах.

...Только теперь, сидя в холодной темноте коровника и

вспоминая все, Яринка поняла, что особенно волноваться в полиции тому коренастому, в дождевике, необходимости не было. Кроме того, он ко многому уже привык; тут, на десятки километров, пока проводилась массовая облава, в которой принимала участие вся новобайракская полиция, вокруг хозяйничала "Молния". Готовая к действию, невидимая, пешая и конная "Молния". Она блокировала жандармерию (хотя Бухман с малочисленной охраной на улицу и носа не покажет), сняла наружную охрану возле полиции, караулила на дорогах за селом на случай появления какой-нибудь непредвиденной немецкой части, сторожила на улице, в огородах и левадах вокруг полиции, ожидая освобождения арестованных, чтобы сразу переправить их в надежные убежища, спасти обреченных, а когда все кончится - незаметно разъехаться, разойтись по домам и, припрятав оружие, лечь спать.

Потом... (Что было "потом", Яринке страшно было восстановить в памяти, страшно об этом даже подумать, ибо все это, не утихая ни на минуту, пронизывало ее нестерпимой болью и сейчас, уже через сутки после этого "потом".)t Ключ от железного сундука все же нашли...

В сундуке-сейфе оказалась целая связка ключей на большом кольце из стальной проволоки. И вот уже все, а с ними и Яринка, через кабинет начальника и комнату следователя бросились в темный коридорчик, в который из камер выходили две окованные железом двери.

Там, за дверьми, сначала было тихо, как в склепе.

Лишь когда в коридорчике затопали ногами по полу (как оказалось, туда зашло всего трое, и ни одного знакомого Яринке) и звякнуло железо замков, в камерах началась тихая и оттого особенно жуткая суета. Там думали, что приближается время очередного избиения или допроса, а успокаивающие слова коренастого в дождевике сквозь дверь в камеры не доходили до заключенных или люди им просто не верили...

Вначале Яринка, теряя рассудок от нетерпеливого желания скорее во всем разобраться, так и не могла понять, что же на самом деле происходит в коридорчике, что, собственно, еще случилось.

Почему подпольщики, повозившись у одних дверей, да так и не отперев их, перешли к другим? И почему они так долго там копаются? И уже значительно позже, когда открыли женскую камеру и начали выводить на улицу женщин, и когда, прижавшись к ней дрожащим худеньким тельцем, что-то растерянно и тревожно лепетала Настя-радистка, когда, наконец, вывели даже тех двух молодиц, которые ни за что не хотели

бежать (зная, что за самогон и спекуляцию ничего не будет, а за побег, если снова поймают, - расстрел!), и когда все почему-то снова собрались в канцелярии у телефона (и она с Настей), - Яринка только тогда поняла весь ужас, всю страшную правду того, что случилось!

За то долгое время, пока люди возились у дверей камер, Настя, захлебываясь от волнения, глотая слова, успела второпях рассказать, как все случилось. Они - группа капитана Сапожникова - получили приказ перебазироваться дальше на запад. Настя передала в штаб последнюю радиограмму о том, что приказ принят, Яринкин отец снова спрятал в зеленый улей Настину рацию.

Улей еще с осени он держал в сарае, там же лежало сено, старнозка и два десятка еще недомолоченных снопов ржи...

Вчера после обеда бабушка Агафья со слезами начала собирать Настю в далекую неизвестную дорогу. (Ночью за девушкой должна была заехать подвода.) Нашли большую полотняную торбу, положили в нее хлеб, сало, пирожки с сахарной свеклой и калиной, налили банку меда.

Яринкин отец стоял у посудного шкафчика и немцев увидел первый. Увидел и сразу все понял...

Настя еще не сообразила, что к чему, а Калиновский, с ходу бросив: "Сидите тихо. Я сейчас...", бросился к дверям в сени. Бабушка Агафья, не послушав его, рванулась к окну. И в этот именно миг ударила по окнам автоматная очередь. Бабушка и вскрикнуть не успела, упала на лавку и уже оттуда сползла на пол.

Донес ли им кто-нибудь, выследив, или они запеленговали рацию - этого Настя не знает. Знает только, что, когда ее поставили на ноги и начали бить, допытываясь, где рация, не в сарае ли она, сарай уже горел...

Калиновский все же успел под пулями перебежать к нему и поджечь изнутри. Охваченный дымом и пламенем, старый сарай пылал со всем своим скарбом - сеном, снопами, ульями, рацией и пчелиными роями.

Яринкиного отца ввели в хату уже истерзанного, в крови. Били его нещадно. Били сильнее, чем ее - Настю. А он все твердил, пока не потерял сознания, что ничего не знает, не понимает и слова такого "рация" не слыхал. А сарай, наверное, загорелся от их пуль.

Они обшарили весь двор, хату, чердак, заглядывали в колодец, прочесали вокруг хаты кусты, а потом бросили Настю и уже потерявшего сознание Калиновского в кузов зеленой полуторки и помчались в Новые Байраки.

А когда выезжали из леса на дорогу, огонь с сарая перебросился и на хату.

Потом Настю били еше и тут, в полиции. Отец... Она так ничего и не знает о нем. Наверное, живой, но без сознания. И вот теперь, когда Настя уже здесь и осталось толькэ отпереть двери и спасти отца, оказалось, что ключей, которые всегда висели на одном стальном кольце, ключей от мужской камеры нигде нет...

Растерянный Валерик ничего не мог объяснить и твердил только одно: ключи, как и всегда, были в зеленом сейфе на стальном кольце. Сам Бухман взял это кольцо из рук Ковгуна и сам же потом возвратил Ковтуну после того, как запер в камеры арестованных. Что случилось с ключами, где они, куда исчезли, Валерик ни попять, ни объяснить не мог. Знал только: должны быть на кольце и должно быть их далее четыре - от двух внутренних замков и двух висячих - тяжелых, будто колоды, круглых, как на железных путах.

Ничего не добившись от Валерика и навеки заткнув шкворнем рот Рыжей Смерти, вспомнили наконец о Нудлике и вырвали у него изо рта кляп. Он, словно обезумев, какое-то время так и держал рот раскрытым и перепуганно водил выпученными, покрасневшими глазами.

Только после двух оплеух, которые ему щедро влепил тот, в брезентовом плаще, Нудлик икнул, в горле у него булькнуло, и он заголосил, моля о пощаде, - ведь у него малые дети.

Не запомнила Яринка, после какой оплеухи Нудлик наконец сообразил, чего от него требуют, и пояснил, что еще там, в коридорчике, когда заперли обе камеры, ничего не узнав ни от девушки, ни от человека, потерявшего сознание, Бухман подумал и собственноручно снял со стального кольца и положил себе в карман все четыре ключа от мужской камеры.

В полицейской канцелярии стало так тихо, что все услыхали, как под закопченным, треснувшим стеклом едва слышно гудит, вспыхивая на круглом фитиле лампы, присыпанный солью бензин.

И только теперь коренастый в брезентовом дождевике (и, как заметила только что Яринка, с рыжими, коротко подстриженными усами) увидел двух девушек: одну чуть постарше, а другую - совсем молоденькую.

- О!.. А вы зачем еще до сих пор здесь?

Голос у него еще и тогда (это она запомнила на всю жизнь), да, еще и тогда голос у него был спокойный.

- Никуда я... без отца, - ответила Яринка твердо, - никуда, пока камеру не откроете, не пойду.

Человек в дождевике ничего не ответил, будто согласился,

сразу же обратился к кому-то из своих и приказал тоном, не допускающим возражений:

- А эта? Ты - Настя, да? Эту - немедленно! Немедленно же, Микола, веди! Ее там уже ждут знаешь как!

Кто-то оторвал Настю от Яринки и увел куда-то в темноту... Кто-то предложил поднимать двери ломом. Лома не было, они к этому не готовились, но те тяжелые двери не поддались бы даже и лому. Кто-то вспоминал Бухмана, сожалел, что взять его сейчас не хватит сил. У него в подвале в окнах три пулемета установлено, и времени уже мало... Кто-то куда-то сбегал, что-то принес. Кто-то собирался подорвать двери гранатой, а другой не позволял, считая, что это тоже ничего не даст. Суетились, бегали, чем-то бухали. Яринка едва воспринимала все, порой забывая, где она и что с ней. Стояла ошеломленная и время от времени повторяла: "Татоньку!.. Татусю!.."

- Хлопцы!.. Луна!.. Луна всходит, говорю!.. Ну, хоть стреляйся!..

Голос был тревожный, исполненный невыразимой печали, боли, совсем не похожий на голос того коренастого, в дождевике. Но произнес эти слова именно он...

Значит, они должны отходить, оставляя камеру с отцом и всеми арестованными на верную смерть. Отходить, чувствуя приближение утра и полное свое бессилие хоть чем-то помочь.

И они отошли, пристрелив Нудлика.

Яринку из коридорчика во двор просто вытянули. Она упиралась, цеплялась руками за замки на дверях камеры, за косяки, вскрикивала: "Татоньку!.. Татусю!.."

Только где-то внизу огорода, среди каких-то кустов на болоте она наконец пришла в себя и сказала:

- Идите... У меня приказ, и я сама знаю, что мне делать. Идите...

У нее и в самом деле был приказ пробиваться к "Раздолью". И сказала она об этом, не называя, правда, точного места, соврав (обманывая и себя, и их), таким твердым голосом, что они поверили. И Яринка действительно пошла. Пошла она в темень, едва начавшую сереть в свете низкой красной луны. Пошла в "Раздолье".

И может быть, даже дошла бы...

Однако ее остановили. Остановили случайно, когда она переходила дорогу возле Солонецкого хутора и не заметила заставу на размытом мостике в балке. Не заметила, потому что шла как во сне и все на свете было ей безразлично. А опасности для себя она уже нигде ни в чем не видела и не боялась.

Остановил ее полицай, вероятно, в десять часов на

следующее утро. Поодаль стояло еще двое с автоматами и собакой. А возле них - толпа людей, человек десять, тоже, видно, задержанных.

В боковом кармане у нее был пистолет. И в обойме патроны - все, кроме одного, израсходованного на Дитриха. И документ на пистолет, подписанный тем же Дитрихом. Но она ничего не показала. "Как же это я вот так по-дурному влипла?" - подумала о себе безразлично, будто о ком-то совсем постороннем и чужом для нее.

А тем ответила, что документов при ней нет, а идет она из Скального в Балабановку к сестре. Ее не обыскивали. Много времени потребовалось бы полицаям и мало их было, чтобы в такое время обыскивать всех задержанных девушек и женщин.

И все же ее не отпустили, приказали: становись вон к тем, а там разберутся. И затем повели. Не в Балабановку, хотя туда вроде было и ближе, и не в Подлесное, а почему-то (верно, сами были оттуда) в Терногородку.

Добрались они в Терногородку уже к вечеру. Возле полиции какой-то низенький, сутулый, с кривыми "кавалерийскими" ногами, в хромовых сапогах, в кубанке и белом кожухе, бегло оглядев задержанных, криво усмехнулся.

- Местов, братцы, не хватает в полиции, - сказал он полицаям. - Разве в три яруса укладывать или... прямо в расход... - Какое-то мгновение он еще ощупывал острым взглядом узеньких прищуренных глаз людские лица. - Мне вон того, - показал он рукой на кого-то. - Подозрительным кажется,надо прощупать скорее. А этих всех пока что в лагерь, в коровник. Потом разберемся.

Нет, братцы, местов...

Они снова почти через все село побрели к тому ужасно знакомому ей лагерю. За проволоку их ввели уже в темноте. Одновременно с ними в широко раскрытые, оплетенные колючей проволокой ворота вливалась серая, понурая колонна с шоссе. Колонна изгнанных с Приднепровья, из задуманной гитлеровцами, хотя и далеко не везде осуществленной, "зоны пустыни".

Пока месила ногами грязь, согрелась и в лагере какое-то время просто отдыхала с дороги. Потом, остывая, почувствовала, как, пронизывая насквозь, ее измученное тело сковывает холод, а вместе с ним приходит какая-то болезненная ясность мыслей.

Теперь ей начинает казаться, что в большом мире для nee ничего не осталось. Только холод, острая боль бесси"

лия и безнадежности, понимание ужасной непоправимости всего, что случилось.

Холод проникает все глубже и глубже, оседая невидимыми льдинками где-то на самом дне души, в самом сердце. Отец! Отец, который остался там, в Новых Байраках, без сознания, может, и неживой. Она так и не смогла и, главное, уже никогда и ничем не сможет ему помочь. А спасение казалось таким близким и таким легким.

Вместе с холодом, с болью, с этими мыслями в ее сознание незаметно входит давнее, но в то же время и новое, понятное и такое естественное чувство целесообразности, даже необходимости смерти, острое отвращение к жизни. И это отвращение к жизни убивает, парализует все мысли, желания, порывы, волю. Увы! Как это давно было, когда она чувствовала что-то похожее!.. Такое сильное, такое глубокое отвращение к жизни. Тогда умерла ее мама... Теперь - отец, да в сущности и она сама тоже. И как это, выходит, все просто, ясно... Как смешно бояться когото, дрожать за свою жизнь, когда ей жизнь совсем не нужна. И совсем ей не страшно. Не страшно жить, не страшчо и умереть... Все так естественно, просто и понятно. Возможно, человек и вообще никогда и ничего не боялся бы, если бы так глубоко, как сейчас Яринка, мог заглянуть себе в душу?! Нет, разумеется, бояться, страдать, переживать можно за какое-то большое и дорогое дело, за кого-то близкого и родного, но за себя?..

А холод донимает все сильнее и сильнее, уже пронизы"

вает до костей. Вокруг в темноте копошатся, стонут, глухо переговариваются люди.

Яринка прячет подбородок в воротник, втягивает голову в плечи, плотнее запахивает полы шубы, сводит вместе отвороты и... тихо ойкает, наколовшись пальцем на что-то острое. Отдергивает руку, мгновенно вспоминает, что это, и сразу вскакивает на ноги. Поднявшись, быстро переступает условный порог и выходит на глухой, обнесенный проволокой двор лагеря. Вернее, ступает на утоптанный, как камень, хотя вокруг и грязь, клочок земли у входа, где когда-то, наверное, были двери.

Из-за темных очертаний сельских крыш совсем низко, над самым горизонтом, поднимается в гору темнокрасный серп луны, разливая над землей еле заметный, сумеречный свет. Темень постепенно рассеивается. Где-то, не так уж и далеко, было утро...

"Что ж это я! - вдруг спохватилась Яринка. - Если я не боюсь смерти, если мне все равно, то смерть, именно моя смерть, может послужить нашей победе! У меня еще столько патронов!.. А для себя и одного хватит. Да мне же приказано пробираться к "Раздолью"! Я должна, просто обязана выполнить приказ!"

Пытаясь согреться, Яринка затанцевала на месте,

притопывала, била задниками нога об ногу, а неотвязные мысли все проносились в ее голове. Ведь не бояться смерти, отнестись к ней безразлично совсем не значит сдаться на и х милость! Тут другое... Если уж она вступила на этот путь, то он на этом не окончился! Может, он, этот ее путь, - кто знает - только начинается?! Ее здесь никто, никто не услышит. Среди этой темной ночной пустыни, перед ожидающей ее неизвестностью...

И потому совсем не стыдно, даже сладко подумать вслух не своими, не ею выдуманными, пусть даже и торжественными словами: "Тем путем... С моего духа печатью!..

В странствия столетий... С твоего духа печатью!.." Может, она еще и не успела ничего сделать, вступив на этот путь... Кто знает и кто скажет!.. Но сама-то она знает.

И не может она уйти вот так просто из жизни! Именно потому, что смерть ей не страшна, даже желанна, именно потому умереть должны они. И умереть от ее руки...

Заплатить кровью за эту разоренную, захламленную колючим ржавым железом родную землю, за все поругания, насилия, за отца. Именно ей, если она уже ничего - ни их, ни самой себя - не боится, ей обязательно надо выйти отсюда на свободу... Снова отправиться в путь... Да и сделать это, пока они еще не кинулись за ней, именно за ней, по следу, нетрудно. А если и кинулись? Да где им догадаться, что она сейчас по воле слепого случая, возможно, даже счастливого для нее стечения обстоятельств, находится здесь!..

В ПУТИ

Луна подымается все выше и выше. Небо становится яснее, вокруг все начинает переливаться, мерцать зеленым светом и постепенно переходит в прозрачную синеву.

За синевой наступило утро.

А с наступлением утра зашевелились, переступая с ноги на ногу, согреваясь, сбиваясь в группки, совсем незнакомые ей, чужие и в то же время свои, родные люди...

Где-то раздался свисток, зарычала овчарка. Кто-то крикнул, кто-то выругался по-немецки... Затем раздался огборный мат полицаев, и люди снова выстраиваются в колонну, чтобы двинуться дальше Дальше от своего жилья, земли, родных, в полную неизвестность.

Взошло солнце. И она, Яринка, сейчас тоже вольется в эту незнакомую толпу, вместе со всеми выйдет за колючие ворота и только один раз взглянет на то страшное место... Место, где в ту ночь... когда зацвели терногородские вишни... у столба... ее мертвый уже... ее вечно живой... ее единственный Дмитро...

И она пойдет вместе с теми людьми, будет месить грязь,

молодая, сильная, вооруженная. А где-то там снова незаметно выйдет на свой путь. И пусть попробуют найти, пусть догонят, задержат ее те, кто бросил ее вчера за проволоку... Да, наконец, они ее просто и не запомнили. Зачем она им? Что она значит сейчас хотя бы вот для того мордастого полицая, который... Но почему, однако, он так внимательно присматривается к ней?.. Но нет, нет!

Это, вероятно, так, случайно. Может, странным кажется ему, что здесь девушка? Что ж, на всякий случай надо поглубже забраться в толпу. "Я, дяденька, стану за вами. Вы - высокий, а мне надо выйти отсюда так, чтобы меня не заметили. Я буду идти за вами. Спасибо, только не оглядывайтесь". А краснорожий, наверное, какой-то местный. Посмотрел, да и отошел, исчез с глаз.

Голодная, измотанная, она шла по густой степной грязи весь хоть и не очень еще долгий, но тяжелый день.

Только под вечер какой-то пожилой мужчина догадался и достал из своей еще не совсем опустевшей торбы кусок черствого хлеба и синюю, горькую-прегорькую луковицу.

Она съела все это молча, быстро, на ходу.

Грязь в том году была поистине невероятной. Густая, глубокая, вязкая. Не только силы, всю душу выматывала.

Заночевали снова в каких-то обнесенных проволокой коровниках, не дойдя километров семи до города.

Снова была холодная ночь, тяжелые думы и никаких возможностей бежать. Кажется, это легко и просто ей, женщине. Ведь в колонне одни мужчины! Но отойти на глазах у конвоиров, заметят: откуда такая взялась? Кто?

Почему? Сразу заподозрят, а там, глядишь, обыск. Да если она и убьет какого-нибудь глуповатого Карпа из полиции, стоит ли, как говорится, игра свеч? Нет, побег должен быть надежным, верным.

И снова наступало утро, и снова светит ясное февральское солнце. Одолев последние семь километров, они наконец в десять утра подошли к городу, в концлагерь, размещенный в глиняных ямах бывшего кирпичного завода.

Через каких-нибудь полчаса после того, как они пришли, в лагере начали выстраивать вчерашнюю колонну, чтобы гнать людей дальше, освобождая место для вновь прибывших. Яринка, долго не думая, веря в свои молодые силы, хотя ноги ее и занемели от утреннего перехода, немедля перебежала от "своей" колонны к новой и затерлась среди тех, что сейчас должны были тронуться в путь...

Колонну, так сказать "по совместительству" (все равно бежать

в том же направлении!), кое-как сгроили и сопровождали почти одни полицаи. Только два немецких солдата из легкораненых были среди них за старших, и теперь оба, в шинелях, пилотках и черных круглых наушниках (хотя на улице и тепло, но уши обморожены где-то еще в Сталинграде или на Дону), стояли с автоматами за плечами по обе стороны открытых ворот, что-то жевали и безучастно пропускали мимо себя колонну, голова которой уже выползла на мостовую, а хвост терялся в глубине лагерного двора.

Яринка протиснулась в середину колонны. Никто здесь не обратил на нее внимания, да и ей поначалу никто не попался на глаза. Только, когда проходила через ворота, заметила впереди клетчаный шерстяной платок.

"Женщина?.." Да, и не одна... Вблизи в колонне, когда присмотрелась, их оказалось несколько... Откуда? Может, не просто изгнанные "из зоны пустыни"? Может, из отправляемых на каторгу, арестованных?.. Яринка насторожилась. Настороженность вызвала тревогу и даже опасение. Ведь то, что в колонне, кроме нее, есть еще женщины, могло усложнить, а то и оттянуть на неопределенное время ее побег!..

Колонна вытянулась из ворот и, хлюпая по рыжей грязи, под которой чувствовалась твердая мостовая, двинулась вдоль дороги, где-то впереди поворачивая направо.

Яринка, как только вышла на мостовую, посмотрела вдоль дороги, обсаженной вишневыми и черешневыми садами, и сразу увидела немецкую открытую машину.

Машина, всего в каких-то ста шагах от девушки, стояла, слегка накренившись правыми колесами набок, и колонна обтекала ее, словно вода камень.

В машине было трое: один - наверное, водитель - сидел за рулем, курил сигарету, двое возле заднего сиденья стояли. Один высокий, плотный, в офицерской фуражке решетом, но без офицерских знаков различия, другой в синем, с плеча какого-нибудь немецкого шуцмана, мундире полицая низенький, щуплый, как подросток.

Они пропускали мимо себя колонну и молча, внимательно разглядывали людей. И тот второй, низенький и щуплый, был не кто иной, как Дуська из Скального. Пресловутый Дуська Фойгель, давний Яринкин знакомый, сын скальновского аптекаря, переводчик из жандармерии, скальновский начальник полиции, который оказался чуть ли не самым лютым палачом и убийцей во всей округе. Теперь он стоял в машине рядом с плотным немцем, шарил узкими белесыми глазами по колонне, пытаясь выловить из этого серого, нескончаемого потока несчастных, измученных

голодом, холодом и гопкой, изнурительной дорогой, безусловно, ее, только одну ее, Яринку. Ее, ибо только он один хорошо знал Яринку Калиновскую в лицо.

Сначала инстинктивно она рванулась, хотела спрятаться за чью-то широкую спину, пробиться на противоположную от машины сторону дороги. Но тотчас же остановила себя. Ведь ее движение в общем спокойном течении колонны сразу привлечет их внимание! Да уже, кажется, и привлекло. Да, Дуська повернул голову и смотрит, кажется, только сюда... Итак... Спокойно, девушка, спокойно. Посгупь твоя должна быть ровной! Правая руга на одно лишь мгновение оказалась под полой шубки.

Проверить, чтобы сразу как можно быстрее выхватить пистолет... Если уж суждено ей умереть, то что ж... Ни он, и вообще никто из них, если сделает хоть один шаг, к ней даже рукой не прикоснется... Только не горячиться и не габыть о себе, о своей пуле.. А если они бросятся к ней, подпустить ближе и, главное, считать выстрелы. Спокойно, девушка, спокойно... Иди и смотри прямо на него. Ибо и он уже смотрит только сюда, только сюда. Сколько там шагов еще осталось? Семьдесят? Пятьдесят? Сорок? Да, это он... Это у него в руках было черное, распластанное крыло замученной вороны в заводском парке... Это тот самый Дуська... Как он тогда, в восьмом, мучил и преследовал ее почти целый год! Он первый встречал ее, когда она шла через мостик в школу или выходила на переменку, цеплялся, когда возвращалась домой. О чем-то болтал, толкал, приставал. Дергал за косу, а иногда больно щипал... Он и тогда был щуплый, с острыми чертами лисьей мордочки и какими-то удивительно белесыми, почти белыми глазами. И еще был злой, всегда с какойто неприятно-колючей улыбкой на губах... Она, помнит, боялась его тогда, как никого на свете, хотя и был он на вид тщедушный. Ее доводило это до отчаяния. Но она никому не жаловалась, не любила жаловаться, да и па что, собственно говоря, могла сетовать. Это были обычные мальчишечьи шалости. Однако эти шалости отравляли ей жизнь, пока она как-то в отчаянии не избила его крепкой палкой из колючей акации, случайно попавшейся ей под руку. Помнит - раскроила ему до крови щеку и перестала бить, когда заметила в его белесых глазах выражение покорного испуга.

Потом уже поняла, что эти преследования были весьма удивительной формой проявления обычной мальчишечьей влюбленности. Яринка вспомнила даже клочок бумаги из тетради, испещренный его рукой, но боязливо неподписанный, в котором он путано признавался ей в любви. Она прочитала его письмо с какой-то непонятной брезгливостью, скомкала, бросила

в глубокую, сверху подсохшую колею весенней дороги возле мостика, привалила глыбой густой грязи и старательно притоптала.

Больше она, собственно, ничего такого и не запомнила.

Кроме, разумеется, того единственного случая, который нельзя было забыть, и он не забылся...

В следующем году, в сентябре, неожиданно арестовали его отца. В школе об этом знали все. Дуська тогда почти не подходил к Яринке, но встречались они каждый день. Еще более исхудавший, даже высохший, ходил он с низко опущенной головой и с каким-то затравленным выражением белых глаз. В комсомол его не приняли. Ко времени ареста дело находилось уже в райкоме, и Федя Кравчук, тот самый Федя Кравчук, выступил против, и все, кажется, с ним согласились.

Они где-то вскоре после того встретились в школьной библиотеке-читальне. Когда она зашла в читальню, там почему-то никого не было. Только он один. Поникший, он сидел за партой, как-то по-пгичьи подняв острые плечи и опустив голову на руки. Ей вдруг стало жаль его, стали понятными и состояние его, и переживания. Яринка, поддавшись подсознательному порыву жалости, подошла и положила руку на его острое плечо. Он вздрогнул, сразу насторожившись, сверкнул злыми глазами.

Потом, узнав ее, будто просветлел. Что-то похожее на улыбку искривило его лицо, он вскочил на ноги, заговорил горячо, со злостью, то ли оправдываясь, то ли угрожая кому-то, а может, и всем им:

- Вы... Вы!.. Вы все против меня!.. Вы думаете - я?.. Все вы меня ненавидите, я знаю!.. Ненавидите и не верите!.. А я... Вот! Читай!..

И в порыве откровенности (может, потому, что это была она) Дуська положил перед нею два вырванных из середины тетради листа, где он писал в местную районную газету, что его, Дуськин, отец оказался гадом, врагом народа и немецким шпионом. И он, Данило Фойгель, навечно отказывается от своего отца, ненавидит его, проклинает и даже сменит свою фамилию, чтобы никогда не иметь ничего общего с этим проклятым шпионом и врагом народа.

Яринка быстро пробежала письмо глазами и растерялась, пораженная его содержанием - отказом от родного отца и даже от фамилии. Она поняла: враг есть враг (а что отец Фойгеля - раз он уже арестован- враг, она тогда не сомневалась), но... Можно, наконец, за что-то возненавидеть и родного отца. Однако отец есть отец, и фамилия есть фамилия. Всего этого не скрыть, не сменить, как старые сапоги. Нет. Она, например, умерла бы от

стыда за отца, за себя, все стерпела бы, повесилась бы или утопилась, нр такого, чтобы только себе легче или лучше, она бы не сделала... Одним словом, ей стало както гадко, неловко и даже страшно. И, ничего не сказав, не промолвив и слова, она с презрением отвернулась от Дуськи и вышла из читальни.

Через несколько дней после того Дуська из их школы исчез. Перевелся, говорили, в другую, называвшуюся сельской, десятилетку. В десятом классе он снова почему-то оказался у них, держал вместе с ними выпускные экзамены. Никакого столкновения, никакого разговора с ним - кроме того последнего о немецком языке уже в начале войны - Яринка за то время не запомнила.

И вот он, отказавшись от родного отца, немецкого шпиона, сам став палачом в немецкой жандармерии, приехал сюда, стоит в машине на дороге и выслеживает, ищет Яринку взглядом своих белесых глаз. Увидел...

Впился глазами... Яринка подтянулась, шагнула тверже.

Шла, глядя прямо на него, высоко подняв голову... Ближе... Ближе... Совсем близко... Всего несколько десятков шагов. До машины осталось десять, семь, может, пять шагов, и взгляды их скрестились. На мгновение. На одно долгое-долгое, как вечность, мгновение. И первым (неужели не выдержал ее взгляда?) отвел свои глаза Дуська, взгляд его скользнул мимо нее дальше, вдоль колонны. Не узнал?! Не мог не узнать. Дуськин взгляд прожег ее насквозь. Может, бросится вдогонку? Оглянуться?

Нет, лучше не оглядываться... Оглянется лишь тогда, когда почувствует возню за спиной. Не сможет не почувствовать. Руку за борт шубки, пальцы на ручку пистолета, и она успеет... она успеет.

Яринка шла, не оглядываясь. Ее бросило в жар, удержаться от того, чтобы не оглянуться, стоило огромных, почти нечеловеческих усилий.

Трудно сказать, как долго шла она так, словно слепая, пытаясь услышать, увидеть, ощутить то, что происходило у нее за спиной. Полчаса, час, день?.. И когда она отважилась наконец оглянуться, увидела сзади лишь серый поток людей, протянувшийся вдоль нескончаемой улицы. Не видно было лагерных ворот, они слились вдали с оградой, и машины, той, что стояла на мостовой, тоже не было. Наверное, свернула в другом направлении, отстав от колонны и уже не догоняя ее...

Дуська Фойгель, пропустив колонну, доложил начальнику жандармского поста Веселому Гуго, что Яринки Калиновской (роль и действия которой раскрылись во время событий в Новых Байраках в путаных бессвязных словах обезумевшего от пыток

Ивана Бойко и в донесениях какого-то терногородского полицая), той Калиновской в колонне, которая вышла только что из лагеря, не оказалось. Хотя внутренне еще долго, может, до самой ночи, не мог избавиться от Яринкиного откровенно вызывающего взгляда, направленного прямо на него, словно говорившего Дуське: "А ну-ка, что ты теперь будешь делать?.."

Ну что мог сделать Дуська с девушкой, которую он еще в школе так безумно полюбил. Так безумно, что чувство его сжигало, и он не мог, не в силах был оставить девушку в покое ни на минуту, преследуя ее, каждый раз причиняя боль, настоящую физическую боль, от которой Дуське становилось как будто легче.

Что мог сделать Дуська, начальник Скальновской полиции, увидев девушку, за которой он гнался специально, наконец узнав все о ней. Гнался по грязи от Скального до Новых Байраков, от Новых Байраков до Терногородки, от Терногородки сюда, до самого города?.. Что мог сделать, увидев девушку, которую знал тут только он один и которой когда-то так неосмотрительно показал письмо, где отказывался от родного отца - немца и, может быть, немецкого шпиона?! Он тогда не знал - шпион его отец или нет?.. Просто отца арестовали, а сыну хотелось обеспечить себе спокойствие и благополучие в жизни... И только уже во время оккупации, вспоминая тот случай, он все больше и больше с каждым часом тревожился: а что, если Калиновская возьмет да скажет кому-нибудь о том письме, что, если она донесет на него и выступит свидетелем?..

Не зная, что Яринка только сегодня за последние два года вспомнила о том факте, что мог сделать Дуська Фойгель вообще?..

Он-то знал!.. Он давно решил, что, встретив ее гденибудь наедине, тихо пристрелит, и конец. Но, как ни странно, они так и не встретились... Она куда-то исчезла... А теперь Дуське ой как не хотелось попадать в петлю и болтаться на виселице посреди базарной площади в Скальном, которую он сам помогал устанавливать.

Прорваться в колонну и как бы сгоряча пристрелить ее сейчас? А как тогда объяснить это Веселому Гуго и всем остальным?.. Да и где гарантия, что Гуго не пристрелит самого Дуську за такое непонятное поведение?

Ведь Гуго так много надежд возлагал на показания, которые они вырвут пытками у Калиновской! Взять ее живой? Да... Но что делать, если она начнет показания с того Дуськиного письма? Поверят они или не поверят? Ничего не угадаешь в это опасное и горячее время! Дуське сразу стало холодно. Он не выдержал прямого Яринкикого взгляда и отвернулся. Если уж попала туда,

то пусть и бредет в своей колонне, пока где-нибудь не пропадет.

Пропустив Яринку и внимательно осмотрев потом всю колонну, Дуська коротко сказал Веселому Гуго: "Нет..."

Потом они еще полтора часа переворачивали вверх дном весь городской концлагерь, выискивая, вынюхивая вчерашнюю терногородскую и новые, подходившие сюда колонны. Ничего так и не обнаружив, решили возвратиться назад.

Сначала ехали по дороге на запад. Через какое-то время, когда надо было повернуть направо, на Скальное, увидели, как впереди замаячила длинная, серая людская толпа, окруженная полицаями. Та самая колонна, в которой и дальше верстала свой трудный путь Яринка Калиновская.

Машина, не догоняя колонны, свернула направо. Дуська невольно оглянулся назад. Рядом с ним дремал Веселый Гуго, что-то бормотал шофер, объезжая выбоины.

Дуська закурил цигарку и оглянулся еще раз. А потом еще и еще...

Над степью стоял ясный полдень солнечного февральского дня.

Зима в тот год была теплая и дождливая. Оттепель началась, собственно, с середины февраля. Позже, когда дожди прошли, а морозами и не пахло, солнечные лучи, хоть и не смогли высушить, все же прогрели землю вглубь так, что она оттаяла, казалось, на целый метр и вся покрылась густой, местами разъезженной на дорогах, но всюду непролазной и клейкой черноземной грязью.

Солнце поднималось в небе уже высоко. И сейчас стояло в зените, излучая ласковое весеннее тепло. Голая, мокрая степь млела и слегка даже парилась в ласковом тепле. А высоко в синем небе таяли нежно-сиреневые тучки. Синее, загадочное, немного даже тревожное марево густо затянуло туманный, мерцающий горизонт. И туда, к горизонту, в ту тревожную туманную даль, извиваясь вдоль бесконечной дороги, медленно продвигалась людская колонна, все глубже и глубже погружаясь в синеву, удаляясь, становясь все менее и менее видимой. Вот она уже едва маячит на пустынной дороге, и если бы не знать, что это колонна людей, ничего издалека и не различить бы. Точно утопая в той синеве, колонна медленно, неумолимо растворяется в ней и, наконец, совсем исчезает с глаз.

И уже снова только дымящаяся паром степь, высокий и гулкий купол синего неба, сиреневые тучки и солнце.

Все вокруг выглядит так, будто до этого ничего здесь и не было.

Расплывается в колдобинах жидкого месива, выравнивается

и, сливаясь, теряется за колонной ее след на черной, размокшей и непролазной дороге.

Постепенно и как бы незаметно, но невозвратимо теряется, успокаивая Дуську, и Яринкин след на дороге.

Исчез... Ничего не осталось.

Исчезла Яринка, утонула, словно растворилась в дымящейся паром синеве, в залитой ослепительно холодными лучами февральского солнца широкой степи.

И больше уже никто и нигде не встречал Яриики Калиновской. Так, словно и в самом деле растаяла, растворилась в воздухе или провалилась сквозь землю девушка...

письмо

инженера Надежды Очеретной

директору областного краеведческого музея города К

Лукии Антоновне Сивошапке

Дорогая Лукия Антоновна!

Я только что возвратилась из туристической поездки в Польскую Народную Республику. И сразу, как условились, решила написать Вам письмо. Правда, что касаетсянашего уговора, не скажу Вам ничего определенного.

Так - лишь одна догадка, скорее желание напасть на след, чем сам след... Обещала Вам писать (и присылать)

не только все то, что узнаю или услышу о "Молнии" и о ее людях, но и вообще обо всем, что хоть отдаленно связано с событиями военного времени в нашей области...

И вот пишу и посылаю Вам этот маленький металлический значок и клочок пожелтевшей бумаги с одним-единственным словом "Pidlisne". Нет, наверное, ничего удивительного в том, что написано оно латинскими буквами...

Но ведь слово наше, это название одного из районов нашей области. Хотя, по правде говоря, Подлесных на славянских землях можно было бы насчитать еще сотни, если не тысячи. И все же... Посылаю, может, это Вам пригодится. Может, явится еще одной ниточкой большого клубка для работников музея и товарищей из редакции областной газеты, которые, помните, в свое время этим всем очень интересовались...

Не буду писать вообще о своей поездке - это было обычное непродолжительное туристическое путешествие.

Начну с того, что именно заставило меня сразу поделиться с Вами своей догадкой.

Еще на улицах Варшавы обратили мое внимание и поразили небольшие таблички на стенах домов, а то и прямо на ограде, у входа в какой-нибудь двор, иногда в неглубокой нише. На табличках надписи, страшные и вместе с тем до слез

трогательные: "На этом месте в августе 1942 года расстреляно гитлеровцами пять человек", "Здесь расстрелян неизвестный юноша" (без даты), "Здесь убиты в июле сорок третьего две неизвестные женщины". И тут же, прямо на тротуаре, букетики живых цветов. А то и один живой цветок. Иногда, подвешенная у таблички, тускло мерцает лампадка... Цветы возле табличек всегда свежие. Находятся люди, которые каждый день кладут цветы на том месте, где была отнята жизнь у человека... Свежие цветы, которые вошли уже там в обычай, трогали меня до слез. Обычай этот установился, как рассказала нам одна пожилая женщина, еще тогда, в годы оккупации.

Однажды утром, во время самых тяжелых боев на востоке, когда у гитлеровцев было особенно много раненых, которым нужна была кровь для переливания, эсэсовцы устроили на улицах Варшавы неожиданные и молниеносные облавы. Они окружали небольшой район, хватали прямо на улице людей и заталкивали в специальные автобусы, стоявшие наготове тут же на Маршалковской, Свентокжижской или других улицах. Схваченным забивали в автобусах рот алебастром, брали у них кровь, затем пристреливали и выбрасывали на тротуар. Такие облавы устраивались за время оккупации несколько раз. А на тех местах, где гитлеровцы бросали убитого, вскоре появлялись цветы... Каждый день свежие цветы.

Спустя некоторое время весь город стал воздавать почести гражданам, убитым на его улицах гитлеровцами. Цветы появлялись летом и зимой, утром и вечером. И никто из оккупантов не видел, как они появляются, кто их приносит.

Потом обычай этот распространился и в других местах.

После Варшавы мы навестили Краков, Освенцим, Закопане, Поронино, побывали в Татрах.

Вы знаете, чье имя напоминает Поронино, знаете, кто там жил. Знаете, что в том домике теперь музей Ильича.

Мы навестили этот музей, а на другой день побывали в соседнем горном местечке-курорте. Там всего несколько улиц на склоне живописных гор. Вдоль улиц много каменных и кирпичных оград. А за ними сады, парки, санагорий, просто садики, цветники и небольшие хорошенькие домики местных жителей горных лесорубов, каменщиков, служащих из ближайших санаториев. Так вот, в том местечке, как только мы приехали туда, на одной из оград, за которой в саду белел островерхий домик, мы увидели надпись на табличке: "Здесь весной 1944 года убита неизвестная советская девушка". А внизу, под табличкой из серого гранита, на каменном тротуаре - несколько свежих красных роз... (Посылаю Вам фото этого места, таблички и той

длинной, украшенной печальными смереками улицы в узком зеленом межгорье, среди лесов и суровых скал.)

Естественно, что на этот раз нас взволновал не сам обычай, а то, что неизвестной была советская девушка... Как она попала именно сюда? Как все случилось? Откуда стало известно, что та девушка советская?..

Во дворе, за каменной оградой, в островерхом деревянном, на каменном фундаменте домике прожила чуть ли не всю свою жизнь старушка вдова. Долгие годы работала она санитаркой в одном из местных санаториев, а теперь доживает век в собственном доме, с внуком.

Все или почти все она наблюдала, пережила и видела собственными глазами.

Произошло это в конце весны или в начале лета...

В местечке, в горах да и всюду вокруг было очень тревожно... Тревожно и радостно, ведь где-то уже близко наступала Советская Армия, и они ждали конца нескончаемой, как долгая осенняя ночь в лесу, оккупации - с тридцать девятого года! - конца "германа" и своего долгожданного освобождения. Гитлеровские войска стояли где-то недалеко в горах. В местечке была немецкая комендатура. А в горах размещался концлагерь или военный завод... Вернее, и то и другое... Гитлеровцы были уже напуганы, растревожены, как осиный рой, и злы. Не доверяли ни одному местному человеку даже в мелочах, а "взаимопонимания" достигали побоями и убийствами.

Уже несколько дней никому и никуда не разрешалось выходить из местечка. Дважды за последнюю неделю налетали и что-то бомбили в горах советские самолеты. Иногда доносился сюда отзвук стрельбы... А именно в тот день воздух в горах сотрясли два глуховатых, но таких мощных взрыва, что в некоторых домах даже стекла повылетали.

Около часа после того было тихо, а потом поднялась вокруг трескотня: автоматы и пулеметы, винтовки, иногда приглушенные расстоянием взрывы гранат... Стрельба то приближалась к местечку так, что слышно было даже собачий лай и перекличку солдатни, то порой отдалялась и затихала.

По улицам метались вооруженные немцы из комендатуры. По нескольку, парами стояли на перекрестке возле распятья, при выходе из местечка, внизу возле ворот санатория... Местные жители, разумеется, сидели в домах, лишь изредка тайком поглядывая в окна, чтобы разобраться, что там происходит, чего ждать.

Старушка, которая рассказывала нам об этом, была в тот день в комнатке на втором этаже. И вот, когда все немного утихло и

она подошла к окну, из соседнего двора напротив перепрыгнул через каменную ограду на улицу какой-то мальчик... Все произошло так неожиданно и так быстро, что она не успела и оглянуться.

Мальчик был в полосатой арестантской одежде босой и без фуражки. Она как сейчас видит его темноволосую стриженую головку и то, как он, перепрыгнув через ограду, лишь на одно мгновение присел в кювете, повел головой направо и налево вдоль улицы и как тут же вся улица наполнилась криком, собачьим лаем и выстрелами.

Мальчик вскочил на ноги, заметался среди оград, как затравленная серна, в одну сторону, в другую, а выстрелы раздавались все чаще, потом напрямик бросился через улицу к ее двору и... упал на каменные плиты тротуара как раз перед ее калиткой, на том месте, над которым прибита табличка.

"Убили!" - пришла в ужас женщина, но не нашла сил отойти от окна. "Наверное, убили..." На короткое время все вокруг стихло. Потом откуда-то с верхней части улицы вырвался серый волкодав. Подпрыгивая, он мчался серединой улицы и тянул за собой длинный ременный поводок. Волкодаву осталось сделать до мальчика лишь несколько прыжков, как тот вдруг слегка пошевелился. Сухо треснул выстрел, и пес, перевернувшись через голову, упал посреди улицы и бессильно забил лапами. Вся улица сразу наполнилась автоматными очередями. Пули засвистели, зацокали по стенам, казалось, даже в самой комнате наверху. Зазвенело стекло. Перепуганная женщина упала на пол и уже ничего не видела. Слышала только стрельбу, которая то утихала, то вспыхивала сильнее. Иногда, когда совсем стихало и гитлеровцы, видимо, приближались к ее двору, сухо, будто кто ломал ветку, раздавался выстрел от ее калитки, и все начиналось сначала... Таких выстрелов было три или четыре. Но ей тогда показалось, что все вокруг трещало чуть ли не до самого вечера.

Позднее под ее окнами, перебивая друг друга, о чемто громко и возбужденно заговорили немцы. Изредка им откликался кто-то и по-польски, наверное местный полицай... Наконец она все же пересилила свой страх и выглянула из окна...

Немцы, а с ними два или три полицая топтались возле ее калитки. Среди этих людей неподвижно замер холмик, прикрытый полосатым арестантским рваньем.

Немцы еще ье оправились от испуга, не отошли от азарта преследования, говорили громко и возбужденно. Из неразборчивого галдежа порой прорывались отдельные слова: "Рус пандит! Рус партизан! Рус польшевик!.."

Только уже потом, через полицаев, должно быть, люди

дознались, что в тот день в горах заключенные концлагеря на рассвете совершили взрыв на каком-то подземном заводе или складе, а часть из них, пользуясь паникой, разбежалась по горам.

А убитый мальчик оказался молоденькой, истощенной от голода, непосильного труда и пыток девушкой.

Труп ее лежал на тротуаре до самого вечера, целую ночь и еще некоторое время на другой день. На спину полосатой рубашки немцы прикололи бумажку с надписью:

"Рус пандит", и по этой бумажке жители города узнали, что девушка - из Советского Союза. Потом еще рассказывали разное: будто та девушка была одной из тех, кто устроил взрыв, и что она, отстреливаясь из пистолета, кроме пса убила эсэсовца и ранила в руку местного коменданта. Труп девушки разрешили похоронить только под вечер на следующий день.

Хоронили ее, рассказывала та женщина, она сама, ее соседка и пан лесоруб Сидлецкий со своим мальчиком Ежи. Они вдвоем выкопали могилу под высокой смерекой. А она, старушка, чуть ли не всю свою жизнь проработавшая в тубсанатории, мертвых уже не боялась (больше боялась живых!) и обыскала одежду убитой:

может, остался от нее хоть какой-нибудь след, чтобы, когда придет время, оповестить ее родных... Одежда на девушке была такая: арестантские полосатые штаны, рубашка, трусы и куртка. Ни в куртке, ни в карманах штанов ничего не было. Только в шве трусиков, там, где протянута резинка, нашли клочок бумаги со словом "Pidlisne". Возможно, там были и еще какие-то слова, но большая часть бумажки была залита кровью, расползлась, и ее пришлось просто оторвать... За лацканом куртки нашли этот маленький значок из такого темного металла, что он сливался с темной полосой куртки и был бы незаметен, даже если бы его прикололи сверху на видном месте. Старушка обнаружила его, только когда наколола палец о булавку значка. А что это за значок, и она, и соседка, и пан лесоруб Сидлецкий, и даже его маленький сынишка Ежи хорошо знали... Ведь совсем неподалеку, вот там, за этой горой, Поронино... Тот, чей силуэт изображен на значке, когда-то жил там, и люди помнят об этом. Не забывали ни при пилсудчине, ни при оккупации. Вот они и решили сохранить память о неизвестной девушке тем, что сберегли оставшееся от нее...

На гранитной плите тротуара, возле калитки, там, где убита девушка, так и-осталось темное пятно - след ее крови. И когда они после похорон возвратились к себе, кто-то уже успел положить прямо на то пятно, на ее кровь свежую красную розу... С тех пор свежий цветок на том месте лежит всегда. Старушка не видит, когда и как он появляется... Раза три или четыре она сама

срывала у себя во дворе и клала на камень какой-нибудь цветок...

Когда гитлеровцев прогнали, уже при новой, народной Польше, над тем местом повесили табличку. А неизвестную перенесли и похоронили в братской могиле вместе с погибшими тут воинами Советской Армии и Войска Польского под горой, в конце улицы, за статуей святой мадонны. Там, где возвышается белый обелиск.

Старушка рассказала нам об этом, стоя у калитки двора, в маленьком польском городе в Татрах, недалеко от Пороняна. Я, Лукия Антоновна, как и все мы, была поражена и взволнована тем рассказом. Но... Что-то глубже отозвалось тогда в моей душе... Может, запало в сердце то слово - название села или местности, знакомое мне по нашей области?..

Как жаль, что больше не сохранилось слов, которые, возможно, были написаны на том клочке бумаги!.. Но...

Так или не так, мне сразу среди тех гор и в местечке, где я была впервые в жизни, вспомнились и сестра, и , брат Грицько, и наша "Молния"... Я подумала... Нет, я прежде всего попросила у той женщины (пояснив, как смогла, и оставив ей свой адрес) этот значок и клочок бумаги... Теперь посылаю их Вам... Кто знает, Лукия Антоновна, а вот я почему-то твердо верю, что та неизвестная девушка именно и есть наша Яринка Калиновская...

Привет Вам, жду ответа. А в сентябре, может, встретимся. Итак - до свидания!..

Ваша Надежда Очеретная.

Июль 1967